

Б И Б Л И О Т Е К А

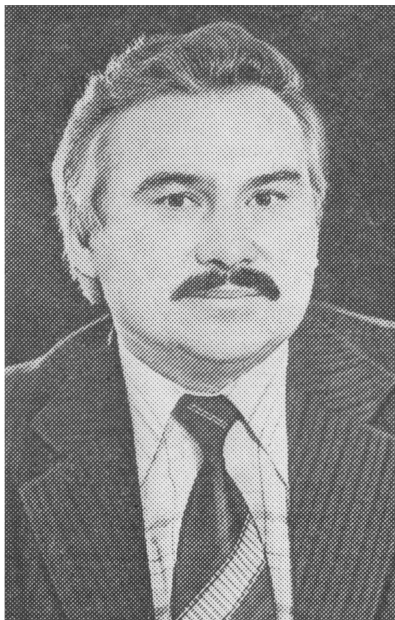
ISSN 0132-2095



**ОГОНЁК**

№ 50

1985



*Александр ОЛЬШАНСКИЙ*

М О С К В А  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«П Р А В Д А»

**ТЕПЛО ТАУ КИТА**



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 50

---

Александр ОЛЬШАНСКИЙ

# ТЕПЛО ТАУ КИТА

РАССКАЗЫ

Москва. Издательство «ПРАВДА»

1985

*Александр ОЛЬШАНСКИЙ*

*Александр Андреевич Ольшанский родился в городе Изюме Харьковской области в 1940 году. После учебы в лесном техникуме работал механиком, слесарем, шофером, учителем. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Служил в Тихоокеанском пограничном округе, был журналистом, ответственным работником ЦК ВЛКСМ, заведующим редакцией по работе с молодыми авторами издательства «Молодая гвардия», заместителем главного редактора Главной редакции художественной литературы Госкомиздата СССР. Автор книг «Сто пятый километр», «Китовый ус», «Любовь в Чугуеве» и других.*

## СЛУЧАЙ В СЕМИГОРЬЕ

В десятом часу вечера Переверзев оставил в гараже забрызганную по крышу машину, с комьями грязи на капоте и ветровом стекле, нашел во дворе лужу, помыл в ней сапоги, вошел в горком черным ходом, на носках, и, стараясь не наследить, поднялся на второй этаж по лестнице, застланной новой ярко-красной дорожкой. «Ну и уделали «волжанку», ох и уделали», будет ахать водитель Паша. До поездки в обком успеет Паша ее отмыть? И следы, черт возьми, резиновые сапожищи все равно оставили — будет уборщица завтра искать виноватого», — думал Переверзев, надеясь, что никто не видит безобразия, учиненного им на лестнице. Однако на втором этаже, в приемной, его поджидал помощник Сухотин, прижимая к ноге пухлую папку с золотым тиснением «К докладу».

«Чаю бы лучше догадался согреть», — подумал Переверзев с неприязнью о помощнике и его папке-мучительнице, которую Сухотин непременно, когда бы он ни приехал, всучит в конце дня. — Все, больше без Паши не выезжаю. Сидит Паша дома с ребенком — возьми другого водителя, это, как дважды два, элементарно. Хорошо еще, что выбрался, не засел в кювете. А мог и не выбраться... Правильно жена говорит: сгоришь, Переверзев, а моря не подождешь. Насчет «сгоришь» — правильно, насчет «моря» — за него не беремся, а вот болото расшевелить — тут мы еще посмотрим...»

По вечерам Переверзев занимался самоанализом, подводил итоги, далеко не всегда утешительные. Он вставал в шесть утра, в семь появлялся на строительстве комбината бытового обслуживания, затем — жилья, автодорожного моста через реку, который соединит, наконец, железнодорожную станцию с городом, не надо будет ездить вкруговую... Он знал, сколько машин бетона, щебенки, кирпича поступило вчера на его подшефные объекты, как работали краны и бульдозеры, какие выключатели, с веревочкой или клавишные, привезли на дом номер четырнадцать — первый по-настоящему городской дом в Семигорье, девятиэтажный, с лифтами, мусоропроводом, восьмиметровыми кухнями, который во что бы то ни стало надо было сдать к октябрьским праздникам. Зачем ему в эти выключатели-

выключатели вникать, он не прораб, не инструктор даже промышленного отдела, а первый секретарь, ведь дело дошло до чего: Зацепа, новый директор ремонтно-механического завода, довольно прозрачными намеками высказал обиду: мол, всем помогаешь, а на строительстве нашего нового цеха ни разу не показывался. А чем же тогда тебе заниматься, дорогой товарищ Зацепа, если и твои кровные заботы первому на себя взвалить? Семен Семеныч, второй секретарь, кабинетный сидень, докомандовался по телефону районом — с уборкой картошки провал, а первый, пожалуйста на бюро обкома за нахлобучкой. Если бы в сутках было сорок восемь часов... Интересно, неужели и тогда бы он вставал в шесть утра, не имел бы ни праздников, ни выходных?!

Сегодня он затемно поехал по району, мотался по полям, говорил с руководителями хозяйств, снял стружку с двух председателей — совсем перестали мышей ловить, на календаре десятое октября, а у них больше половины картошки в земле. Говорил с механизаторами, с шефами — рабочими, служащими, студентами... Две женщины вынесли корзину с картошкой с поля, на дорогу, к машине, у каждой по пуду грязи на сапогах. Одна из них, кажется, медсестра из районной поликлиники, спросила: «А это правда, товарищ секретарь, что в воскресенье в Семигорье штангисты будут соревноваться? В местной газете вчера объявление прочли». Переверзев впервые услышал о соревнованиях, газету вчерашнюю только по заголовкам просмотрел, сказал женщинам: «Нет, девчата, неправда». Улыбнулся еще им, а у самого запрыгали под кожей на скулах желваки.

Прослышав, что он в районе, зашевелились чиновники в управлении сельского хозяйства, в райисполкоме, сельском отделе горкома, разъехались по хозяйствам изображать активность, норovia при этом попасться Переверзеву на глаза. Даже Семен Семеныч в черном финском плаще, в черной дорогой шляпе, в туфельках, белоснежной сорочке с ярким галстуком встретился ему на обочине. Переверзев остановил машину, Семен Семенович то ли с завистью, то ли с осуждением посмотрел на его резиновые сапоги, куртку, толстый свитер, кепку. С вальяжным, солидным, руководящим даже своим внешним видом Семен Семенычем он, сам себе шофер, поздоровался и сказал: «Я прошу вас, Семен Семеныч, вернуться в горком,— и Переверзев не остался в долгу, задержав взгляд на наряде второго секретаря,— проработать предложения о проведении массового выезда горожан в субботу и воскресенье на уборку картофеля. Мера крайняя, но вынужденная. Пусть редакция подготовит статью, объяснит людям положение. Я готов подписаться под такой статьей. Предложения обсудим послезавтра на бюро горкома». Семен Семеныч повернулся и, не теряя своего драгоценного достоинства, подошел к машине, ждал, пока водитель откроет дверцу...

Не столоначальники нужны в поле, а дороги, новые картофелеуборочные комбайны, и солнце, погода — в районе больше трети

картошки в земле. Да, из-за проклятой непогоды, но в не меньшей мере из-за неумения маневрировать трудовыми ресурсами, техникой, организовать дело. И он, Переверзев, тоже хорош... Тот же Зацепа в конце сентября, когда погода стояла сухая, умолял его не посылать своих рабочих в поле — заводу нужен был план, от плана зависело все: деньги на жилье, следующую девятиэтажку должен строить ремонтно-механический, зарплата, премии, следовательно, кадры, авторитет нового директора. Прежний директор дачи с лифтами строил, ему план корректировали. Зацепе же надо план только выполнять. Пошел ему навстречу, мужик дельный, старается, борется, зачем же ему станovou жилу подрезать? Выполнил Зацепа план, третий квартал подряд выполнил, даже задел на четвертый сделал, а двадцать восьмого сентября пошли обложные дожди, похолодало. Время было упущено. Одну ногу вытащишь — другой увязнешь. Тут же анонимка в обком: Переверзев своего дружка Зацепу выручал, когда стояла хорошая погода и надо было картошку копать, а сейчас, когда дожди, холод, он даже санитарок из больницы в поле направил. Со знанием дела подметное письмо составлено, с кругозором...

— Принесите, пожалуйста, вчерашний номер газеты «Вперед», — попросил он помощника и зашел в комнату отдыха переодеться. Стащил сапоги охотничьи, защитного цвета брюки, свитер, умылся. Вытирая лицо, взглянул в зеркало, вспомнил слова недавно гостившей тещи: «Ой, Володимирович, отошшал, отошшал ты на новых харчах!»

Он вышел из своей комнаты отдыха с десяткой в руках, протянул ее Сухотину:

— Передайте Клаве-завхозу, пусть купит термос литра на два. А Клаву-секретаршу попросите оставлять мне на вечер, если можно, в нем горячий чай. Пожалуйста.

— Иван Владимирович, завхоз купит для вас термос. Но для этого не нужны ваши личные деньги.

— Максим Петрович... — Сухотин услышал настойчивые нотки в собственном имени-отчестве, видимо, вспомнил, как Переверзев отдал из комнаты отдыха роскошный чайный сервиз, доставшийся ему в наследство от предшественника, в родильный дом, и ответил: — Есть!

Помощник в армии никогда не служил, но предшественник Переверзева был когда-то ротным старшиной, приучил всех работников горкома говорить с шиком «Есть!», «Так точно!». Клава-секретарша (половина горкома — Клавы, есть еще Клава — из учета, Клава — из отдела пропаганды и агитации, сокращенно Клава-агитация) ошарашила Переверзева в первый же день своим «Никак нет», вот уж никак не сочетающимся с ее добрейшей физиономией, домашним, уютным видом.

— Какой прогноз погоды на ближайшие дни, в частности на субботу и воскресенье?

— Я уточню, Иван Владимирович. Когда вам нужно, сегодня или завтра утром?

Что он уточнять собрался? Сказал бы прямо: не знаю, так нет же: «я уточню». Сухотин — прирожденный аппаратчик, на работе чувствует себя, как леший в лесу. Он ни за что не передаст документ ему, пока исполнитель не вылизет его по форме и содержанию. Даже под скрепку вырежет бумажку, а саму скрепку на документе расположит на сантиметр от края и обязательно коротким ушком наверх — иначе она при чтении соскользнет. За исполнение поручений, если они шли через Сухотина, можно не сомневаться — этот дотошный аккуратист умел держать вопросы на контроле. Теперь сводки погоды будут каждое утро на столе. Отдел сельского хозяйства получает их ежедневно. Сколько же в городе и районе людей руководит сельским хозяйством, опекает и обслуживает его, а почему же картошку должны убирать санитарки и медсестры, студентки института культуры из областного центра?

— Завтра утром, — сказал Переверзев и получил в ответ короткое, как выстрел, «Есть!» — Скажите, Максим Петрович, какие у нас мероприятия запланированы до конца месяца, кроме этого. — Переверзев ткнул пальцем в объявление о соревнованиях.

— Одну минуточку, — повеселел Сухотин и раскрыл свой объемистый служебный дневник. — Вот, пожалуйста, 20 октября — семинар пропагандистов, 21 октября — пленум райкома комсомола, 23 октября — сессия районного Совета...

— Спасибо, — прервал помощника Переверзев, — включите в повестку дня заседания бюро на послезавтра вопрос о мероприятиях в городе и районе. И пригласите на заседание организаторов этих соревнований.

— Есть, — ответил Сухотин, должно быть, задавшись целью все-таки вывести его из равновесия.

— Максим Петрович, я вас уже просил не говорить «есть», — сказал Переверзев. — Извините, когда вы его произносите, то мне кажется, что вы не думаете в этот момент. Но я знаю, что это не так! Оставляйте папку, идите отдыхать. Спасибо. Спокойной ночи.

— Я понимаю вас... Но у меня не всё...

— Слушаю, Максим Петрович. Присаживайтесь. — Переверзев снял очки, к которым никак не мог привыкнуть, а без них уже с трудом разбирал машинописный текст, откинулся назад, распрямляя спину, онемевшую еще в машине.

— Спасибо, я постою. — На морщинистом лице аскета появились признаки нерешительности, борьбы с самим собой. — Простите, но я вам должен сообщить очень неприятную новость. Мне стало известно, что Лидия Григорьевна на четвертом месяце...



— Откуда известно? — тихо, но жестко спросил Переверзев, не отдавая еще отчет в том, что Лидия Григорьевна Горбунова, Лидушка, как он ее называл в душе с комсомольских времен, секретарь горкома партии по идеологии, лицо, отвечающее за нравственность и мораль в городе и районе, будучи не замужем... Короче говоря, он только сводил все это воедино, а вопрос задал по привычке знать все точно, перепроверять самую достоверную информацию.

— Слухи пошли в городе, я решил позвонить в женскую консультацию. Там подтвердили под большим секретом. Подруга жены там...

— Кто вас просил, Максим Петрович, соваться в эту консультацию? Кто? — спросил грозно Переверзев, негодуя, что его помощник звонил в женскую консультацию — уму непостижимо!

— Я полагал, Иван Владимирович, своей обязанностью поставить вас в известность, — ледяным тоном ответил Сухотин, поджал и без того тонкие губы, напрягся весь и в то же время опустил глаза — бодаться будет! — В обком поступил сигнал, в нем утверждается, что отцом будущего ребенка являетесь вы, Иван Владимирович...

— Вот как, — улыбнулся Переверзев, и улыбка эта наверняка обошлась ему дорого, быть может, на год приблизила первый обширный инфаркт. — Что-то новенькое, — сказал он, посмотрел на холодное, темно-синее ночное окно, на капли дождя, ползущие вниз. «Какие сволочи, а? Одним выстрелом — сразу двоих! Значит, поперек горла стали, если такое внимание. Но кто так методично, со знанием дела пишет в обком и выше? Неужели Семен Семеныч держит обиду на меня, что не он, а я стал первым? Он не замарался при предшественнике, вот это и насторожило всех: значит, видел все, но молчал? Он мудрый, если надо что-то отклонить, мудрец, гений обоснованных отказов, но сделать что-нибудь, добиться, решить — тут он пас. Предлагали убрать его из горкома, а попросил повременить до отчетно-выборной конференции. На свою голову? Да что же я в конце концов: безо всяких оснований обвиняю человека? Пусть и про себя, лишь в мыслях, но факты, доказательства где?»

— Не переживайте, Иван Владимирович, у нас не первый случай, когда руководителю приписывают отцовство ребенка подчиненной. Это в Семигорье, к счастью, слишком типично, чтобы принять за правду. Слишком типично... Всего вам доброго.

«К счастью? Пожалуй, да. А он все-таки отличный мужик», — подумал Переверзев о Сухотине, и только теперь, оставшись один, осознал всю сложность ситуации. Так вот почему Клава-секретарша смотрела на него вчера вечером с таким огромным и неподдельным сочувствием, так вот почему сегодня Семен Семеныч держался независимо-вызывающе! У Клавы-секретарши на лице все написано, только не ленись читать.

Лет семь назад он был вторым секретарем обкома комсомола, а Горбунову перевели из Семигорья заведовать отделом пропаганды, с прицелом на секретаря по идеологии. Как-то вечером она зашла к нему в кабинет, поставила локоть на стол, подперла хорошенькое личико раскрытой ладонью, посмотрела-посмотрела на Переверзева, пыхтевшего над докладом на пленум, и вдруг у нее из густо-синих глаз закапали слезы. Лицо задумчивое, печальное, а слезы, как из чудотворной иконы, — кап, кап, кап...

Переверзев схватил графин, стакан, но Лидушка встала, улыбулась, а слезы все съпались, сказала:

— Ничего, Ваня, все нормально. Прорвемся. — И вышла.

Вскоре Переверзев вернулся на родное машиностроительное объединение секретарем парткома, а Лидушку избрали секретарем обкома комсомола, и только года три спустя на каком-то совещании, они сидели рядом, она вдруг призналась: а ведь я тебя, Переверзев, тайком любила, боже, как я тебя любила, а ты, — она прикрыла рукой лицо в деланном ужасе, — валун из ледникового периода. Только не говори, что ты все чувствовал, понимал, догадывался. Тогда я прощайся к тебе заходила, а ты графином зазвенел, бюрократина!.. Пosomeялись тогда, на них еще из президиума цыкнули...

А полтора года назад Переверзев вызвал первый секретарь обкома партии, Большой Федор — так его называли еще на машиностроительном объединении, где он был генеральным директором. При нем Переверзев начинал в объединении инженером, но тогда они не знали друг друга — на машиностроительном сотни инженеров. С Большим Федором познакомился, когда тот работал секретарем обкома партии, знакомство было непродолжительным: того перевели в Москву, а Переверзев вернулся в объединение.

Большой Федор одним своим присутствием умел вселять в людей уверенность, чувство надежности, основательности. И когда Переверзев, теряясь в догадках, появился в приемной, секретарша тут же доложила первому, пригласила пройти в кабинет. Большой Федор, высокий, стройный, с короткими и совершенно седыми волосами, рельефными, как у древнегреческих скульптур, шел ему навстречу и улыбался. Пожал руку, взял под локоть, подвел к глубокому креслу, усадил и сам сел напротив. Их разделял небольшой круглый столик, и Переверзев понял, что разговор предстоит не из простых.

— Вот что, Иван Владимирович, не вздумай отказываться. Причины веских для отказа у тебя нет, да это и не предложение, а поручение. Первым — в Семигорье. Стоит себе городишко на отшибе, с купеческим душком, который до сих пор не выветрился. И надо там навести порядок. Сложный город и сложный район. В общих чертах они тебе знакомы, тем более что там филиал машиностроительного. Предшественника твоего вчера мы исключили из партии, освободили и секретаря горкома по идеологии. Основу для исправления положе-

ния в Семигорье обком заложил, будем помогать, поддерживать, но нервы, энергия, здоровье — твои, Иван Владимирович. Опирайтесь надо на честных людей, принципиальных, болеющих за дело — таких в Семигорье неизмеримо больше, чем проходимцев. Что же касается секретаря по идеологии, то как вы относитесь к Горбуновой Лидии Григорьевне? Она, между прочим, из агрономов, работала в Семигорье. Ты лучше меня ее знаешь — работали в комсомоле вместе. Предварительный разговор с нею состоялся, она поставила нам вроде условия: если Переверзев поедет, считайте, что я уже в Семигорье. Супруга твоя Евгения Андреевна полчаса назад дала согласие возглавить планово-экономический отдел Семигорьевского филиала машиностроительного... Как видишь, нет никаких оснований для отказа. Остается только пожелать тебе ни пуха ни пера, а тебе — послать первого секретаря обкома к черту. — Большой Федор вдруг улынулся широко, подмигнул Переверзеву, ошарашенному таким неожиданным предложением. — Обложили со всех сторон, а? Ничего, на д.о. Поручаем тебе большое, настоящее дело. Трудное, но справишься, а мы уверены, что справишься, — тебе цены не будет. Лет через пять — семь, глядишь, меня, старика, заменишь. Через семь лет тебе будет только пятьдесят, а мне, увы, — шестьдесят шесть. Вот так-то... Если нет возражений, жду ровно в двенадцать завтра, поедем тебя и Горбунову избирать на пленуме горкома. По пути и поговорим.

То, что первый секретарь обкома назвал деталями, и составило главную трудность и заботу для Переверзева в минувшие полтора года. Его предшественник держал тайком в колхозах десятки свиней, сотни уток, еще кое-кто, в соответствии с занимаемыми должностями, — поменьше. Семен Семеныч оказался непричастным к этому делу — ему не доверяли или же он действительно не знал, что в Семигорье творится? Месяц спустя после переезда Переверзева сюда, ночью сгорел универмаг, вскоре хотел было последовать его примеру маслозавод, воспламенившись с конторы, затем на «жигуленке» спяну свалился с обрыва в речку директор межрайонной торговой базы, разбился насмерть.

— Знаешь, что о нас говорят? — спросила как-то Лидушка. — Переверзев и Горбунова скоро пол-Семигорья или снимут с работы, или посадят.

— Как это — пол-Семигорья? — возмутился Переверзев. — Полтора десятка паршивцев, хапуг бросили тень на тридцать тысяч человек, на половину города и района? Чушь какая-то, обывательский бред. Может, Лидия Григорьевна, ты жалеешь, что вернулась сюда?

— Нет, Ваня, не жалею. А ты все-таки валун. Я же из-за старой нержавеющей любви приехала тебе помогать, — то ли с обидой, то ли в шутку сказала она, встревожив Переверзева.

После этого разговора он нередко задумывался: а вдруг она сказала всерьез? Бывает же безответная любовь, любит человек —

и все, сам не знает, почему и за что, и мучается. Такие, как она, своему чувству преданы. Только за что же его, черт побери, она могла полюбить? Видимо, это самое обыкновенное женское кокетство. А если нет? Может, и пытались какие-нибудь отчаянные головы в Семигорье завести с нею интрижку, но никаких разговоров на этот счет в городе не было. Если признаться честно, то на самом доньше переверзевской души ютилась тайная симпатия к Лидушке — умнице и красавице. Но он всегда был ровным с нею, любил ее как товарища, как младшую сестру, не больше. Хотел было сдружить жену и ее — не вышло. Евгения почему-то отнеслась к ней весьма настороженно, может, ревновала, не признаваясь в этом даже себе самой. Не давала Лидушка никаких поводов для разговоров, но Переверзев ждал и надеялся, что в конце концов она встретит хорошего человека, выйдет замуж и навсегда разрешит его сомнения. Дождался!..

Слева на пульте зашуршало, замигала лампочка прямого телефона.

— Слушаю.

— Вернулся? Хотя бы позвонил, — упрекнула жена. — Никогда не позвонишь, если откуда-то приезжаешь.

— Только вошел.

— А-а. Мы с Лидией Григорьевной чай гоняем, может, присоединишься?

Переверзев услышал обеспокоенный голос Горбуновой: «Евгения Андреевна!..», но жена тут же, видимо, закрыла микрофон ладонью.

— Вот чего я хочу сейчас, так это чаю! — сказал Переверзев бодро. — Минут через десять буду.

По-прежнему моросило. На центральной улице, залитой ярким светом неоновых светильников, было тихо и пустынно. Яркие неоновые светильники в центре города, говорят, были поставлены по личному указанию предшественника, и хотя их свет мешал людям, живущим в невзрачных трехэтажках, бил им прямо в окна, никто не возмущался, видимо, потому, что и в центре были горбатые деревянные тротуары. И еще предшественник, чтобы не отставать от больших городов, наставил в Семигорье массу светофоров, даже на тех перекрестках, где за день появлялось два-три десятка машин. Построить новые современные дома на центральной улице, конечно, куда сложнее, нежели повесить две сотни неоновых ламп.

Евгения взяла плащ и шляпу, повесила в прихожей сушить.

— Лидия Григорьевна у нас? — спросил Переверзев, называя Горбунову везде и всюду только по имени и отчеству, и только мысленно, да и то в лучшие минуты — Лидушкой.

— Ушла, — ответила жена, удаляясь на кухню.

Евгения, как обычно, спокойная, уравновешенная. Спросить или не стоит. Лучше все-таки спросить, еще подумает, что они сговорились и он ее послал с объяснениями.

— Она по делу приходила или как? — задал вопрос Переверзев, появляясь на кухне.

— Да так, бабьи дела... Поболтали, чайку попили...

Уж очень старательно-безразличный тон у Евгении Андреевны, должно быть, объяснились. А Горбунова — улизнула, чтобы на глаза не попадаться. Вообще-то он третий день ее не видел, по телефону перезванивались. Она знает, что ему в половине восьмого выезжать в обком, не исключено, придет до отъезда — как же, самое трудное — объяснение с женой — позади...

— Пионерия спит?

— Спит уже. Разве можно тебя дожидаться.— Евгения села напротив, в нужный момент подвигая ему хлеб, нож, вилку.— С картошкой как?

— Плохо. Грязь по колено.

— Дует от окна.— Жена поправила шторы, запахла теплый халат поплотнее, вжала шею в воротник. Переверзев ждал упрёка, что он наотрез отказался взять особняк предшественника, а привез семью в двухкомнатную квартиру в трехэтажке послевоенной постройки, временно, разумеется, до сдачи дома номер четырнадцать. Евгения не принадлежала к числу жен, которые изводят мужей попреками за неумение жить, не ставила в пример других, нет, она в целях профилактики напоминала ему о будущей квартире, чтобы он не вздумал по каким-либо соображениям пока остаться в этой. Обошлось. Евгения отнеслась к нему великодушно — понимала, не до того ему.

— На бюро обкома из-за картошки вызывают?

— Да, поддадут мне жару, может, земля от этого подсохнет.

— Поддадут,— согласилась она и вздохнула.— Фиалил в этом месяце план по номенклатуре не выполнит, особенно по литью. Если из-за нас план не выполнит все объединение, Большой Федор голову с тебя вообще снимет. Может, пока идут дожди, людей лучше вернуть в цеха? Зацепа ведь своих людей возвращал.

— С Зацепой случай особый. Я знал, что мне за него достанется, мой каждый шаг на виду, но иначе было нельзя. Картошку надо спасать. Не везти же ее с Кубы,— ответил Переверзев, а сам подумал: что за женщины пошли, ведут на кухне разговоры о планах по номенклатуре, о литье...

— Но ее ведь все равно не убирают.

— Почему не убирают? Убирают,— сказал Переверзев и попросил налить еще чаю.

На бюро обкома Переверзеву за неудовлетворительную организацию уборки картофеля и за упущения в руководстве районным агропромышленным объединением объявили выговор. «Ни литья, ни картошки!» — воскликнул Воронов, генеральный директор машиностроительного объединения и предложил объявить строгий выговор с занесением в учетную карточку. У Переверзева от обиды поплыли красные круги перед глазами и омертвело все тело, словно его окунули

в жидкий азот, перестало существовать пространство и время, исчезли все чувства и ощущения, осталась лишь одна треклятая обида.

Немалых сил стоило Переверзеву взять себя в руки — ведь не один пуд соли с Вороновым вместе съеден, товарищами столько лет числились, а теперь табачок — врозь. Когда Семигорьевский горком, случалось, с областных трибун сдержанно похваливали за укрепление дисциплины и порядка в городе и районе, Воронов, сидя в президиумах, приосанивался, его розовая лысина так и сверкала: знайте наших, у нас все такие. За Вороновым водилась одна нехорошая слабинка: в любом упущении, в самом мелком просчете находить виновного и примерно его наказывать. Особенно доставалось козлу отпущения, если сам Воронов что-то недоглядел, упустил. И Воронов, когда стал вопрос о переводе Переверзева в Семигорье, не был бы Вороновым, если бы не вымучил из себя согласие, не обставил выдвижение секретаря парткома доброй дюжиной оговорок, сомнений, к примеру, он характеризовал его как очень беспокойного человека, в отрицательном, разумеется, смысле — об этом Переверзеву стало известно уже в Семигорье. Так Воронов оградил себя от возможных неприятностей. Теперь техника его личной безопасности вновь дала о себе знать: отныне Переверзев не наш, машиностроительное объединение за него никакой моральной ответственности не несет. Далеко, на много ходов вперед смотрел товарищ Воронов! Зацепу он тоже вспомнил — дался же всем этот Зацепа. Насчет литья Воронов явно передернул: на объединении был тридцатисуточный запас. Переверзев позавчера специально интересовался, какой задел у объединения продукции филиала. Он хотел было привести цифры, но не стал вступать в спор. Воронов немедленно взвизгнет, спросит: «Вы хотите, чтобы мы по вашей милости работали с колес?!»

Переверзев ждал еще одного удара. Поглядывая на него, Сафо Сергеевна, что-то быстро-быстро рассказывала Воронову, а тот, хмурясь все больше, кивал и кивал. Сафо редактировала областную газету, считала идеологию своей вотчиной, и не было еще ни одного отчета, чтобы она не задала вопроса. Они слишком долго шептались, пока Переверзев отчитывался, чтобы она отмолчалась. Воронов уже высказался, когда же Сафо пойдет в атаку? Она долгие годы работала в газете, пережила не одного секретаря обкома по идеологии, и ее все побавались. Если кто-то по незнанию или невзначай называл ее Софьей Сергеевной, она возмущалась, поджав губы, разъясняла: «Я не Софья, а Сафо, в честь древнегреческой поэтессы...»

— Есть еще вопросы? — спросил Большой Федор. — Или все ясно?

— Есть, — сказала Сафо и, прищурясь на Переверзева, спросила: — Скажите, а какие успехи у вашего секретаря по пропаганде?

Переверзев понял подоплеку вопроса, председатель партийной комиссии Вехов поднял голову, смотрел на него, как на будущего клиента. И тут неожиданно вопрос отвел Большой Федор:

— Идеология и хозяйственная деятельность, разумеется, взаимообусловлены, но в данном случае, думается, и так все ясно. У нас сегодня напряженная повестка дня, и, если у членов бюро нет возражений, подведем итоги. Что же касается идеологической работы Семигорьевского горкома, то у нас еще представится возможность детально разобраться. Садитесь, товарищ Переверзев...

Сафо после слов первого секретаря даже помолодела, выразительного, со значением во взгляде посмотрела на Воронова: вот, я же вам говорила!

В перерыве Большой Федор подошел к Переверзеву со словами: «Зайдем ко мне, именинник!», на глазах у всех взял его под руку и повел в свой кабинет. В конце коридора Большой Федор даже положил ему на плечо руку, как бы приобнял, давая всем понять, что Переверзев, как бы там ни было, находится под его крылом.

— Ко всему надо относиться диалектически, в том числе и выговорам,— сказал Большой Федор, угощая Переверзева чаем.— Процентом на шестьдесят ты его заслужил. Не строгий, конечно, да еще с занесением! Можно было побороться и не объявлять его. Но выговор даст всем понять в Семигорье, что обком от тебя требует. Не столько для наказания, а для стимулирования работы ты его получил. Тебе это понятно, Иван Владимирович, или обида свет застит?

— Немного есть.

— Знаю, что есть,— постучал Большой Федор указательным пальцем по ребру стола.— Переборщи себя. Пока не переборешь — в горком не заявляйся. Дружеский совет.

— Я им воспользуюсь, Федор Иванович.

— На приведение себя в порядок тебе дается три часа, не больше. Перед Семигорьем часок погуляешь под дождем, освежишься. Теперь, Иван Владимирович, а почему ты не сообщил нам, что тебя этак с год назад едва не сбила машина? — У Большого Федора была привычка задавать совершенно неожиданные вопросы. В разговоре с ним невозможно было предугадать, о чем он спросит в следующую минуту. Готовясь к встрече с ним, редко кому удавалось построить беседу хотя бы в общих чертах. Огромная осведомленность и эрудиция, умение сосредоточиться на самом важном, чувствовать логику и «прочитывать» собеседника — еще на машиностроительном нискали Большому Федору славу человека с многоэтажным мышлением. И попасть на тот этаж, на котором находилась его мысль, а она одновременно не дремала на многих этажах, считалось еще с заводских времен немалой удачей. У многих разговор с Большим Федором не получался, собеседники не всегда чувствовали масштабы его мышления. Неожиданный вопрос встревожил Переверзева, и он подумал, что теперь нелегкий разговор состоится, вспомнил осенний вечер, уже ночь, когда сзади как-то угрожающе заревела легковая машина и пошла на него — он почувствовал это инстинктивно, затылком,

прыгнул за столб, стоявший между проезжей частью и пешеходной дорожкой, а машина, с погашенными фарами в нескольких сантиметрах пронеслась у столба, и умчалась. «Пьяный!» — подумал Переверзев, хотя потом вспомнил о погашенных фарах, допуская, что водитель мог быть и не пьяным.

— Не было такого факта? — спросил Большой Федор жестко.

— Кажется, был...

— Был или кажется?

— Был, но я не придал значения.

— Постеснялся, значит. Застенчивость могла дорого обойтись, радуйся, что мы имеем возможность объявлять тебе взыскания. Из-за скромности следствие задержалось на год, в соседней республике вытянули ниточку, могли же выйти напрямую. Директор межрайбазы неудачно организовал наезд — и сам оказался на дне реки. Следствие провели поверхностно, недостатки по базе свалили на него. Причем попытка наезда была предпринята, если не ошибаюсь, неделю спустя после снятия начальника милиции. Расчет ясен? И всех запугать. Этого околоточного, извини, на базе держали на кукане, разменивали его совесть, чувство долга на джинсы, кроссовки, плавки... Под носом у него зарабатывали на спекуляции дефицитом десятки тысяч рублей. Специалисты в этой области уже в Семигорье, извини, пожалуйста, не смог вчера тебя предупредить. Они сами представятся. И прошу, возьми себе за правило: сомневаешься — позвони, мне или другим секретарям, будем сомневаться вместе и вместе думать. Не стесняйся обращаться с вопросами, на которые у тебя нет ответа. Если же у нас есть готовые ответы на все вопросы, то кому мы тогда нужны?

Большой Федор явно ждал от него вопроса о Горбуновой, не без умысла задал задачу после выговора, после рассказа о межрайбазе — скорость реакции и мышления у Переверзева была совсем никудышной. А первому секретарю именно это и надо было — получить ответ без подготовки.

— Я не готов сейчас к разговору.

— Что честно — похвально, что не готов — очень плохо. Есть у нас один секретарь райкома, который однажды прислал мне за один день восемь писем. А ты стесняешься меня беспокоить — одно-два постановочных письма в месяц. И никаких победных реляций. Немного в отрыве работаешь. По анонимкам только и судим о твоей деятельности. Опять же диалектически, помня, что на того, кто не работает и успокоился, не пишут. Природа, как видишь, не любит пустоты. Она заполняется, но содержанием совсем иного качества. Однако вам с Григорьевной, думается, на сей раз достанется крепко. Я попросил Вехова лично разобраться. Он готов выехать сегодня же.

— Если можно, сегодня не надо. Хотя бы завтра. Сегодня и так много: выговор, следствие, для полного счастья не хватает председателя партийной комиссии. Я не говорил еще с Лидией Григорьевной,



только вчера узнал о том, что в обкоме есть очередная анонимка,— взмолился Переверзев, думая, почему же первый назвал Горбунову только по отчеству, по-домашнему, как соседку по сельской улице? И еще так зовут жен старинных приятелей, или он хотел подчеркнуть то, что Горбунова его верная соратница? Задача!

— Только вчера узнал? — удивился искренне Большой Федор.— Какие же вы, в сущности, еще ребята. Хоть смейся вместе с вами, хоть плачь. Все, Переверзев, поезжай к себе.— Он встал, пожал ему руку и пошел к выходу.— Побеседуй по душам — только по душам, слышишь? С Горбуновой, и звони мне сюда или домой. Перерыв, извини, у меня закончился.

По дороге домой Переверзев вновь и вновь прокручивал в памяти свой разговор с первым и все больше находил оснований быть недовольным самим собой. За каких-нибудь восемнадцать часов на него свалилось столько всего, но это не давало ему права предстать перед таким человеком рефлексирующим, незрелым, неосведомленным работником. И он в который раз задал себе вопрос, ответить на который было трудно однозначно, если быть честным перед самим собой и людьми. «Переверзев, а за свое ли ты дело взялся? Тот ли ты человек — по своим деловым, личным и партийным качествам,— что способен вынести на своих плечах груз сегодняшних проблем города и района?» — таким был этот вопрос. Однажды он поделился своими сомнениями с Горбуновой. Она рассудила так: «Иван Владимирович, сомнения такого рода человека безусловно украшают. Но ты не женщина, тебе украшения ни к чему. Будь на твоём месте другой, скажем, на одну треть по твоим качествам, он вряд ли сомневался бы. Не рефлексируй, иначе внутренняя скованность будет мешать делу. Но и не при, как танк...» Интересно, как бы ответил на его сомнения Большой Федор?..

— Иван Владимирович, а у нас солнце! — услышал он неожиданный возглас водителя.— Может, распогодится, с картошкой выкрутимся?

Переверзев посмотрел вперед: вдали, над желто-осенними холмами Семигорья небо было в разрывах между тучами. Солнце щемящеско поблескивало на мокрых крышах, на золотых маковках старинного собора.

— Тьфу-тьфу, только бы не сглазить,— балаболит водитель, чувствуя настроение пассажира.— Не поставит ли мне тайком в церкви от всего горкома свечку, а, Иван Владимирович? Две недели жены дома нет.

— В каком смысле: тайком от горкома или свечку от горкома?

— Могу и так и эдак. Хоть от каждого члена бюро, только бы Зинка побыстрее с картошки дембель получила.

Водитель Паша возил и предшественника, поэтому вначале Переверзев, чего греха таить, подумывал о его замене, но Максим

Петрович Сухотин как бы невзначай сказал о нем раз доброе слово, затем еще раз. Сухотин не одобрял деятельность бывшего секретаря, тот пытался его однажды вытурить из горкома, но не решился, побоявшись какого-то очень влиятельного сухотинского родственника в Москве, реального или кем-то выдуманного — Переверзев до сих пор не знал. Именно Сухотин, поговаривали, сыграл не последнюю роль в исключении предшественника из партии. Для Переверзева Сухотин, как человек, был не из тех, к кому можно было относиться с симпатией, но по деловым качествам помощник был незаменимым, и к его мнению он прислушивался — Переверзев не помнил случая, чтобы он его подвел. И Паша, чувствовалось, приглядывался к Переверзеву, несколько месяцев молчал за рулем, а потом понемногу разговорился, рассказал о жене Зине с филиала машиностроительного, о Димке, ходившем в старшую группу детского сада, а уж от них перешел к семигорьевцам, их нравам и обычаям. Паша оказался добрым малым, не без юмора, и между ними сложились доверительные отношения. Поэтому Переверзев ему сказал:

— Мне уже поставили свечку с хорошим фитилем. Так что, Паша, моей свечки бог испугается.

— То-то я не вижу, — мрачно произнес Паша. — Только за что: не вы же погодой командуете? Испортить настроение, взвинтить человека, на шампур его взять — на это у нас все мастера.

— За дело, Паша, за него.

— Вам, конечно, виднее. Только вы, Иван Владимирович, не берите особенно в голову. Вы — человек, вас народ уважает. Люди не дураки, они все видят и все понимают. Вот пример. Ремонтирую нашу «волжанку» в автокомбинате. Раньше как было? Звонит хозяин директору автокомбината, договаривается, а я-то имею дело с дядей Костей. Усищи у этого дяди Кости по полметра, злой, как черт. Я к нему, а он: не к спеху, парень, твоя «лакейка» обождет. Отмахивается, как от мухи. Изведет, бывало, до предела, хоть с кулаками на него кидайся, а сделает всего ничего, но червонец-другой нагло с меня слупит. Мол, твой хозяин знает, где взять. Вот ведь гад какой, думаю, не знает, что я из своей зарплаты червонцы эти ему отстегиваю... Помните, на прошлой неделе я ездил ремонтироваться? Так вот, подъезжаю к боксу, дядя Костя-таракан подходит сам, неслышанное дело, строго спрашивает: «Переверзева катаешь?» Отвечаю: его. «Заезжай!» Просил развал и сходжение колес отрегулировать, а он заменил все тяги и наконечники. Тормозные колодки и цилиндры в сборе. Ну, думаю, сейчас он с меня слупит — Зинка из дому поперет. А дядя Костя новый комплект проводов высокого напряжения из загашника достает. «Сколько же ты за все это с меня возьмешь?» — спрашиваю. «С тебя — ноль целых и ноль десятых, по счету, как положено, по госцене горком заплатит, отвечает. — Я, паря, твою тачку знаю, как свои пять пальцев. Помню, что делал, а что нет. Ты-то

знаешь, кого возишь? Говорю: ты уже спрашивал. «Ни хрена ты не знаешь,— говорит дядя Костя-таракан.— Ты возишь самого Переверзева, того, который в полном объеме нашу власть в Семигорье вернул. Она и раньше была наша, но не в полном объеме. Твой бывший хозяин для себя и для своих некоторых удобства устраивал, по своему разумению, само собой, но Переверзев не такой, не для себя живет. Он на нас вкальвает, и жизнь стала куда чище. Ты думал, что дядя Костя так себе, таракан, шаромыга, ни хрена не понимает? Передай ему при случае: у дяди Кости для его машины все найдется, пусть он ездит и везде попевает. Так ему и передай».

— Спасибо, Паша,— сказал Переверзев и подумал: не для утешения ли водитель историю с дядей Костей рассказал? Паша — выдумщик, по любому поводу десяток историй расскажет, но очень уж жизненно он своего дядю Костю преподнес.

— На здоровье, Иван Владимирович!

И Переверзев, у которого после рассказа Паши правым веком все-таки завладел нервный тик, с огромным облегчением вместе с водителем рассмеялся.

Клава-секретарша, увидев Переверзева без признаков дурного настроения, встала в растерянности, а солнце, солнце, хоть и косое, осеннее, робкое, так и заливало светом приемную.

— Вы хорошую погоду привезли, Иван Владимирович,— улыбнулась Клава, все больше убеждаясь, что с Переверзевым на бюро обкома ничего особенного не случилось.

— Паша немного где-то раздобыл,— сказал Переверзев, проходя в кабинет.

— Иван Владимирович, вас Лидия Григорьевна ждет не дождется,— Клава спешила из женской солидарности использовать благоприятный момент.

— Минут через пять,— задержался Переверзев в дверях, подумав, что за это время, пожалуй, никто не успеет вернуть к тому настроению, с которым он уезжал из обкома.

В кабинете он подошел к окну, посмотрел на небо. По нему торопливо бежали не такие уж тяжелые облака, между ними были большие разрывы. Ветер с юго-востока, неужели и оттуда натянёт дождь? Нажав кнопку селектора, попросил Клаву соединить с метеостанцией. Прогноз погоды, отпечатанный на страничке и завизированный Сухотиным, лежал посреди стола, но с утра погода явно изменилась.

Замигал глазок прямого телефона.

— Как съездил? — спросила беспокойно жена.

— С пользой для себя,— ответил бодро Переверзев, удивился: «Ну и оперативность у Клавы!»

— Ты обедал? — жену не устраивал общий, обтекаемый ответ, и она решила пойти самым древним, испытанным путем к сердцу и душе мужа.

— Я перекусил, там...— неуверенно ответил он, вспоминая, был ли нынче в обкомовском буфете или нет. Был — два двойных кофе выпил перед отчетом.

— Через полчаса заскочу домой, приготовить чего-нибудь? Придешь?

— Женя, у меня, наверно, не получится, — отказался Переверзев, прикидывая, что полчаса для разговора с Горбуновой маловато.

— Не забывай, Ваня, о своем гастрите. Осень, обострение получишь, а тут еще эти выговоры...

— Женя, извини, поговорим дома.— И отключил прямой телефон.

У начальницы метеостанции был молодой голос — Переверзев не успел познакомиться с нею, не знал даже, где находится ее хозяйство.

— Как вам удалось для Семигорья достать немного хорошей погоды? — Переверзев одновременно льстил начальнице и намекал на утренний прогноз, не предвещающий ничего хорошего.

— Стараемся, Иван Владимирович, — ответила начальница и стала распространяться о циклонах и антициклонах, о сложных атмосферных процессах на их границе.

— Вы меня простите, Аэлита Анатольевна, — мягко прервал Переверзев лекцию по основам метеорологии, которую вознамерилась прочесть ему начальница со столь красивым, небесно-космическим именем.— Меня, как человека практического, не интересуют процессы, какими бы захватывающе интересными они ни были, а результат. Мы намерены в субботу и воскресенье организовать массовый выезд горожан на картошку. Когда вы можете дать точный прогноз на выходные?

— Точный — только в понедельник, приблизительный — в пятницу утром.

— Я ценю ваш юмор, Аэлита Анатольевна, но хотелось бы знать ваш приблизительный послезавтра, в четверг утром. Договорились?

— Если начальство требует, постараемся.

В кабинете появилась Клава, держала в руках поднос с одиноким стаканом. Какого дьявола я здесь сижу, возмутился Переверзев, если разговор по душам? Не на ковер же я ее вызываю, надо идти к ней.

— В таком случае и второй стакан надо. Туда...

— Поняла.

Горбунова стояла лицом к окну, держала в левой руке пудреницу, а в правой губную помаду.

— К тебе можно, Лидия Григорьевна?

— Ой! — вскрикнула она, от неожиданности захлопнула пудреницу, прикрыла ладонью губы.— Напугал. Конечно, можно, Иван Владимирович, надо даже, дай только красоту навести.

— Наводи, я подглядывать не буду, — пообещал Переверзев, садясь в кресло возле журнального столика, стал рассматривать кабинет.

Портрет Ленина, стол, настольная лампа с абажуром в синеньких цветочках, под ситчик, книжный шкаф на всю небольшую ширину торцевой стены, одно окно с цветущим Ванькой-мокрым, журнальный столик с двумя креслами, три стула у стены. Не густо, у него один стол для заседаний больше по площади кабинета Горбуновой. Ему не хотелось думать о предстоящем разговоре, и он подумал о том, что до Семигорья не умел по-хозяйски смотреть на все вокруг себя, смотрел, но всего не видел так, как сейчас, и сколько же до сих пор остается неувиденным, когда же научится все-все видеть и понимать?

— С красотой все в порядке, извини, Иван Владимирович,— сказала Горбунова не без внутреннего напряжения, села в кресло напротив.

— Женщина всегда должна оставаться женщиной.— И откуда только взялась эта расхожая мысль, но именно она была необходима для начала, служила ключом к разговору, определяла позицию Переверзева и облегчала задачу Горбуновой.

— Вот именно! — подхватила она напористо и мягким движением руки убрала прядь волос со щеки.

«Она ничуть не изменилась,— отметил Переверзев, вспоминая, какие внешние признаки свидетельствуют о беременности.— Только глаза другие». Они остались такими же синющими, но если раньше сияли для всех, то теперь их свет был как бы обращен внутрь, в себя — Переверзев давно заметил эту особенность у женщин, готовящихся стать матерями. Сосредоточенность на рождающейся жизни...

Он подался вперед, положил ладони на столик, спросил:

— Поговорим, Лидушка, а?

Он впервые назвал ее Лидушкой — никогда, даже в комсомоле не называл так, в ее глазах мелькнуло изумление, на секунду, на миг, но оно было, хотя и угасло. Горбунова никогда и ни в чем не отставала от мужчин, не уступала им, и поэтому тоже подалась вперед, шлепнула ладонями по столу и сказала:

— Поговорим, Ваня.

Нарочитая напористость, стремление держаться на равных — это, как говорится, на здоровье, прибавляло ей всегда, между прочим, обаяния, потому что получалось очень уж по-девичоночи, не говоря уже о полном отсутствии солидности, положенной вроде бы ей хоть немного по занимаемой должности, но он уловил настороженность, даже какое-то недоверие с ее стороны. К разговору готовилась не день и не два, и неужели пришла к убеждению, что он неспособен ее понять?

— Что будем делать, Лидушка?

— Не называй меня больше так,— прикусила губу Горбунова,— иначе разревусь. И не поговорим,— она улыбнулась, а в глазах влажно сверкнули — опять, как тогда,— улыбка и слезы.

— Извини, больше не буду.

— Что будем делать? — произнесла она вразяжку. — Прощаться будем, Иван Владимирович. Как в «Прощании славянки», помнишь: прости и прощай?.. Подвела я тебя, ой, как подвела... Об одном прошу: не считай меня предательницей, так получилось. В прошлом году ты как-то спросил: «Зачем наша работа? В чем ее суть?» И сам ответил: «Чтобы людям было лучше сегодня, чем вчера, завтра лучше, чем сегодня, чтобы было хорошо и по справедливости». Общие слова, подумала я. Потом же, поразмыслив, поняла, о какой справедливости говорил — о социальной, а это категория сложная. Она же касается и меня! Почему? Мне тридцать пять, я пустоцвет. Справедливо? Разве я не имею права на материнское счастье? Пойми, Ваня, много лет я не могу видеть маленьких детей. Так и хочется прижать к себе малыша, столько к нему накопилось нежности, ласки, любви! Ведь этот малыш или эта малышка могли быть моими, м о и м и, но где же они? С ума сойти... Стала сниться, извини, моя Светочка, хорошенькая такая, с косичками, бантиками... Отдаю себе отчет, что секретарем горкома мне не работать. Нормальная женщина, обыкновенная, если рождает без мужа — а сколько их сейчас, матерей-одиночек! — она не компрометирует себя. Достается ей, бедняжке, но что ей делать, если мужиков не хватает. Таким же, как я, которые на виду, нам нельзя. И они не такая уж большая редкость, умницы, работницы и красавицы, а что у них, одиноких, несчастных баб, кроме должностей? Работа, работа, работа — с утра до ночи... В двадцать два мои подружки влюблялись и замуж выходили, я стала здесь секретарем горкома комсомола. В двадцать пять — первым секретарем, впрочем, анкету мою ты знаешь. Скажи на милость, нормальный парень мог жениться на такой высокой начальнице? Да они боялись ко мне подходить, чего доброго, за руку ее возьмешь, а она на бюро вызовет по поводу аморального поведения. Да и что за жена из меня могла выйти, начальница она и есть начальница, какой из нее дома прок... Потом появился второй секретарь обкома комсомола Переверзев, помнишь такого? Влюбилась в него, дурища, безответно, да так, чтобы и он не знал. Из-за него перешла в обком работать, не надеясь ни на что, лишь быть с ним рядом...

— Извините, Лидия Григорьевна, — вошла Клава с подносом. — Иван Владимирович просил.

— Спасибо, Клавочка, — Горбунова помогла поставить стаканы, подошла к шкафу, и когда они вновь остались вдвоем, сказала: — Где-то была коробочка любимых конфет. Вот они — «Птичье молоко».

— Они шоколадные...

— Думаешь, нельзя? Можно. Когда еще так придется. Наверно, никогда.

— Почему такой скепсис?

— Накануне приезда Вехова я должна оставаться оптимисткой? Председатель парткомиссии — серьезный дядя, мне еще предстоит

убедить его в том, что Переверзев не растленный тип. Мне, глубоко аморальной особе...

— Стоит ли так преувеличивать? Вехов — принципиальный, требовательный, как ему и положено, в то же время он объективный, умный и чуткий человек. Он во всем разберется.

— Я не преувеличиваю. За что тебе выговор дали, за то, что ни днем, ни ночью не знаешь покоя? Или на всякий случай, вдруг Переверзев не такой, каким его знаем? Тут-то выговор будет кстати...

— Выговор, Лида, дали за дело, вернее, за плохо постановленное дело. — Переверзев хотел сказать, мол, Лидушка, зачем же ты так не по-товарищески меня заводишь, сыплешь соль на свежую рану, но раздумал — не время, не место, добавил лишь, что в ней говорит какая-то обида, а между тем он говорил с Большим Федором, который к ней по-прежнему хорошо относится.

— А Вехов зачем едет? — упрямо спросила она.

— Надо же разобраться во всем. Нам с тобой предъявлены серьезные обвинения.

— Эх, Ваня, не надо было меня отпускать в Форос. Не отпустил бы, все шло бы нормально. Впрочем, нормально ли? Бери, пожалуйста, конфеты. — Она придвинула к нему коробку. — Как я смогу доказать Вехову, что ты... извини! Это мое личное дело, личное! Я не могу назвать Вехову имя человека, отца будущего ребенка. Он женат, у него двое детей... Крым, море, прекрасный парк, мы потянулись друг к другу, я впервые влюбилась по-настоящему, не платонически. Семнадцать дней настоящего, безоглядного, огромного счастья... Он прекрасный человек, но я под пытками даже не назову его и ему не сообщу, что у меня будет ребенок. Воспитаю сама, зачем же платить за любовь, за счастье, пусть и коротенькое, черной неблагодарностью?

— Есть такая вещь — доверие. Нам пока доверяют.

— Тебе — возможно, а я из доверия вышла. Не оправдала. Или ты полагаешь, что мать-одиночка, никогда не бывшая замужем, может оставаться секретарем горкома партии?

Переверзев отставил стакан, наклонил голову, стараясь не глядеть на Горбунову — неловко ему стало, могла бы задать вопрос попроще, но именно так он стоял, как сформулировала она. В самом деле, справедливо ли будет, если ей придется уйти? А уйти придется, она сама это прекрасно понимает. Но как ей сказать об этом?!

— То-то же, — сказала Лида с той же обидой. — О чем раньше думала? Извини, у меня могла прерваться беременность, все-таки у же возраст, я делала все, чтобы сохранить ребенка. Можно было найти какого-нибудь завальщего женишка для фиктивного брака, но это не мой стиль, ты же знаешь... Меня мучили угрызения совести, я понимала, что виновата перед тобой, но я считала сугубо своим личным делом, своим правом, и никогда не предполагала, что тебе придется оправдываться за все это! Нет пределов подлости...

— Лида, ты слишком много нервничаешь. Прошу: возьми себя в руки, ты же сильная, и успокойся. Все образуется, вот увидишь,— сказал Переверзев и почувствовал, что говорит неправду — как оно образуется, еще никому не известно.

— Ничего так дешево нам не обходится, как добрые советы. Извини за иронию, Иван Владимирович.— Она помолчала, а затем спросила: — Горком доверит библиотеку в моем родном Залесье? Доверит горком?

В Залесье у нее жила мать — ветхая старушка, которая никак не соглашалась переехать к дочери, покинуть свою избу, где она с фотокарточками четырех братьев, погибших на войне, мужа-инвалида, умершего, когда Лиде было два года, доживала свой век. Переверзев представил Залесье, приютившееся в самом углу района, Лиду в старой, покосившейся библиотеке, с ребенком, старух, осуждающие их взгляды и шепотки вслед: высоко летала да низко села... Девчонку или мальчишку — безотцовщину, к которому далеко не на равных относятся сверстники. Она готова пойти на все.

— Ты хорошо все обдумала?

— Не знаю. Может, мне уехать куда-нибудь? Попрошу девчонок в загсе поставить в паспорте штамп о разводе, они же мне в этом не откажут? В стране, как известно, гораздо больше замужних женщин, чем женатых мужчин. Можно подумать, что у нас по этой причине повсюду процветает многоженство. А тут штамп несчастный какой-то, фикция. Не у первого секретаря горкома испрашиваю разрешение, советуюсь со старым своим товарищем и другом! А уж там где-то, на основании штампа о разводе у ребеночка будет и отчество. Вроде бы как в законном браке состояла. Но если я уеду, все подумают, что не зря говорили о Переверзеве, не зря... Как же быть, Иван Владимирович?

— Обо мне не беспокойся. Поговорят — и успокоятся. О тебе надо думать. Только без глупостей,— он хотел было сказать, что после разговора с нею будет звонить Большому Федору, что тот попросил его поговорить с нею по душам, но Лида могла резонно спросить: а ты без поручения обкома сам не догадался бы? — Иди, Лида, домой и успокойся.

— Спасибо, Ваня.— В голосе была все та же обида.— Может, мне сразу к матери поехать?

Это был уже вызов, но Переверзев сделал вид, что не заметил его, спросил спокойно:

— Она еще ничего не знает?

— Конечно,— ответила она без бывшего напора, и Переверзев почувствовал, что именно в этот миг в ее душе произошло нечто важное, пересилившее необъяснимую обиду на него.— Дай мне отгул на завтра, Иван Владимирович. У нас отгулы не приняты, но все-таки.



— Завтра в четыре бюро,— напомнил Переверзев, теряясь в догадках, зачем он ей понадобился, но и не отказывая.

— До четырех можно?

— Хорошо,— согласился Переверзев с нелегкой душой.

Разговор был исчерпан, Горбунова замкнулась, ушла в себя, Переверзев поднялся, еще раз попросил не делать никаких глупостей и идти домой. Впрочем, последнее излишне — не дома же отсиживаться отпрашивалась. Она молча в знак согласия закрыла веки, и он, выходя из кабинета, увидел на ее губах улыбку, которая показалась ему по крайней мере загадочной.

До Большого Федора он дозвонился лишь поздно вечером. Первый секретарь обкома выслушал его молча. Переверзеву было еще труднее говорить с ним, чем в кабинете — там, во всяком случае, видишь, когда говоришь не то. Теперь Большой Федор только молчал.

— Вы слышите меня, Федор Иванович? — спросил на всякий случай Переверзев.

— Слышу,— ответил Большой Федор так громко, будто находился рядом.— Залесье — не вариант. Она опытный работник, разбрасываться людьми нельзя, пробросаемся... Горбунова по-своему очень права — закон природы, я ее ни в чем не обвиняю. Но есть традиции, есть мораль, есть моральное право занимать определенное положение. И если бы все только от меня зависело, я бы не ставил вопроса о ее работе в качестве секретаря. Оставить ее — значит бросить вызов, моральный вызов, всему городу. Ни я, ни ты к этому не готовы. Разумный консерватизм в области морали куда предпочтительнее авангардизма. Особенно для нас, кто в ответе за мораль. И освободить Горбунову, в сущности, ни за что — значит обидеть хорошего товарища и человека. Но она знала, на что идет. Она выразила протест, как Валаамова ослица, поставив нас в положение буриданова осла. Тот умер с голоду, так и не решив, с какой охапки сена ему начинать. Мы должны решать, иначе горком окажется отброшенным назад. Вам попросту некогда будет заниматься делом. И как это ни прискорбно, с Григорьевной придется расставаться. Но как — вот вопрос. По-хорошему, по-дружески, по-человечески, иначе нельзя. Ей лучше всего уехать из области, и это надо понять правильно. У меня есть товарищ, который пойдет, думаю, нам навстречу,— он назвал фамилию секретаря обкома одной из областей Сибири.— Я его однажды выручил, надеюсь, он нас поймет. Жаль, у него три часа ночи, позвоню ему завтра. Попрошу взять хотя бы сначала в какой-нибудь парткабинет, а потом наша Григорьевна станет еще секретарем райкома и горкома, даже обкома, она же прекрасный работник, к тому же у этого товарища люди быстро растут. Поговори аккуратно с Григорьевной, как она к такому варианту отнесется. Утро вечера мудренее? Тогда спокойной ночи.

Переверзев звонил Горбуновой перед этим — ее телефон не отвечал. Она куда-то уехала... Опустил трубку, подошел к книжному шкафу, нашел фразеологический словарь, прочел: «Буриданов осел. Книжн. Крайне нерешительный человек, колеблющийся в выборе между двумя равносильными желаниями, двумя равноценными решениями... Выражение приписывается французскому философу-схоласту 14 в. Жану Буридану, который якобы в доказательство отсутствия свободы воли привел в пример осла, который, находясь на одинаковом расстоянии от двух охапок сена, должен был умереть с голоду, так как при абсолютной свободе воли он не смог бы решиться предпочесть одну охапку сена другой». «Валаамова ослица. 1. Покорный, молчаливый человек, который неожиданно для окружающих выразил свое мнение или протест. 2. Бран. Глупая, упрямая женщина. Из библейской легенды об ослице волхва Валаама, неожиданно запротестовавшей человеческим языком против побоев».

— Ваня, ты будешь сегодня ложиться спать? — недовольно проворчала жена. — Или ложись, или иди читать на кухню.

— Ложусь, — ответил Переверзев, раздумывая, в каком же смысле Большой Федор назвал Горбунову ослицей, конечно, не во втором значении, но только ли в первом?

Степан Николаевич Вехов, сухощавый, с колючими, жесткими бровями, вошел к Переверзеву в тот момент, когда он заканчивал беседу с прокурором, начальником милиции и следователем из столицы. Следователь скупко рассказал о результатах предварительного расследования, попросил дать согласие на арест заместителя директора базы и начальника торгового отдела. Вина их очевидна, ее сможет, разумеется, установить лишь суд, но интересы следствия требуют немедленных мер пресечения. Переверзев слушал бесстрастную, бесцветную речь следователя, молодого еще человека, лет тридцати, не старше, и удивлялся обыденности его тона. Начальник горотдела милиции хмурился, прокурор, сжав губы в тоненькую ниточку, поглаживал папку под крокодиловую кожу холеной рукой с розовыми ногтями. Вехов поднял от удивления брови, которые стали у него торчком, обменялся взглядами с Переверзевым и покачал головой: мол, ну и ну...

— Как считает прокурор? — спросил Переверзев.

— Я ознакомился с материалами и подготовил ордера. — Прокурор ловко распахнул папку и вытащил оттуда несколько листков. — Да, дело слишком очевидное, к сожалению. Если вы не возражаете, Иван Владимирович, я их передам товарищам...

— Не возражаю, — сказал Переверзев, — но у нас через двадцать минут начинается заседание бюро горкома. Час или два от силы это дело терпит? Члены бюро...

— Терпит, — как бы между прочим сказал следователь. — Никуда они не денутся.

— В таком случае первым вопросом на бюро пойдет ваше сообщение, — сказал Переверзев прокурору, и тот, а за ним следователь и начальник милиции встали. — Желаю успеха, — сказал он им и, пожимая руки, добавил для следователя: — Спасибо.

— Не за что, — ответил бесстрастно и независимо следователь.

«Дуется на меня столичный Шерлок Холмс, работы, видимо, я им все-так добавил» — подумал Переверзев.

— Вижу, тебе не приходится здесь скучать, — сказал Вехов, подсаживаясь ближе. — Федор Иванович попросил меня самому разобраться с анонимкой на тебя и Горбунову. Но у вас сейчас бюро...

— Степан Николаевич, вы верите мне, что с Горбуновой у меня ничего такого не было и быть не могло?

— А почему ты так ершишься? — Вехов снова поставил брови торчком. — Конечно, верю. Но мне надо этот вопрос закрыть, чтобы он не возникал больше. В твоих же интересах.

— Я час назад говорил с Федором Ивановичем. Он попросил, — Переверзев назвал фамилию первого секретаря одного из обкомов партии, — помочь Горбуновой с работой. Тот согласился. «Это, к сожалению, все, чем я могу помочь Горбуновой», — сказал Федор Иванович. Если она согласится, а ей деваться некуда, отъезд, уход с работы, станет как бы косвенным подтверждением того, что мол, что-то тут нечисто. Скажут: было, значит.

— Тут тебе не позавидуешь, — сказал Вехов. — Встретимся после бюро?

Переверзев не успел ответить, не успел пригласить Вехова на бюро, как дверь распахнулась, и вошла Горбунова, в темно-зеленом плаще, на котором поблескивали капли дождя. Горбунова улыбалась, даже сияла. Ее настроение было таким неожиданным, что Переверзев спросил изумленно:

— Опять дождь?

— Мелкий, грибной, — махнула рукой беззаботно Горбунова. — Надеюсь, я вам не помешала?

— Дамы никогда не мешают, — галантно встал Вехов.

— Степан Николаевич, извините меня, я на минут десять опоздала, не застала вас в обкоме, вам бы не пришлось ехать сюда, — заявила Горбунова, и улыбаясь и вызывающе поглядывая на Вехова.

— То есть? — спросил Вехов.

— А я сегодня вышла замуж. Вот. — Она раскрыла сумочку, показала новенькое свидетельство о браке и протянула его Вехову.

— Поздравляю, Лидия Григорьевна, — смутился Вехов, — но, как вы сами догадываетесь, я ехал сюда без подарка...

— Не скромничайте, Степан Николаевич, — овладела положением Горбунова, — вы ехали с подарком, да еще с каким!

— Я немедленно искуплю свою вину — сейчас же иду за подарком и цветами. Такой случай! — воскликнул Вехов и развел руками.

— Поздравляю, Лидия Григорьевна, от всей души,— подошел к ней Переверзев,— и разреши единственный в жизни раз поцеловать тебя в щечку да и то в присутствии председателя парткомиссии. Будь счастлива, Лида.

Горбунова, когда Переверзев чмокнул ее в щеку, подмигнула ему, дескать, знай наших, все нормально, и пригласила его и Вехова на торжественный ужин по случаю бракосочетания.

— Начало в двадцать ноль-ноль, прошу без опозданий.— Она победно помахала рукой Вехову и вышла.

Председатель парткомиссии достал платок, приложил его ко лбу, рассмеялся:

— Завидую тебе, Переверзев. Интересно, черт возьми, живешь! А какие кадры у тебя: не успели чернила высохнуть на анонимке, а Горбунова уже замужем. Ор-га-ни-за-тор какой она, а?! Кого же она так молниеносно окрутила?

— Не имею представления,— ответил Переверзев, не зная, то ли ему радоваться, что так обошлось, то ли сочувствовать Лидушке — неужели она решилась на фиктивный брак не только ради себя, но в какой-то степени и ради него?

— Ну и ну,— не мог успокоиться Вехов.

— Вы на бюро к нам пойдете?

— Может, ты в самом деле предложишь мне на свадьбу сходить? — спросил Вехов.— Чтоб меня там молодой попросил выйти на пару слов и задал вопрос: «Ты что к моей жене имеешь, старый параграф, ну?» Уволь, Иван Владимирович. Подарком и цветами я как-то откуплюсь, но ведь она меня на всю область посмешищем сделала: поехал Вехов персональное дело заводить, а попал шафером на свадьбу?! Не анекдот?! Ну и Горбунова, таких еще чудес не было в моем решетке! Уволь, Иван Владимирович. Разбирайтесь здесь сами...

На бюро Горбунова продолжала сиять, загадочно улыбаясь. Заседание после сообщения прокурора шло нервно, когда перешли к вопросу об уборке, Переверзев рассказал о решении бюро обкома, о своем выговоре — семигорьевская Джоконда по-прежнему улыбалась одними уголками губ. Второй секретарь неприязненно поглядывал на нее, он знал, что Вехов в Семигорье, и когда Переверзев завел разговор о соревнованиях штангистов, Семен Семеныч возмущенно спросил:

— Куда, простите, Лидия Григорьевна смотрит, ведь она курирует у нас эти вопросы?

— В корень! — резко сказала Горбунова.

— Извините, как вас понимать? — спросил Семен Семеныч.

— Я не буду объяснять вам, вы все знаете. Для членов бюро скажу: не со мной согласовывался вопрос о конкретной дате, а с вами, Семен Семенович.— И подарила обворожительную улыбку второму секретарю.

— Но ведь соревнования включены в квартальный план мероприятий. Этот-то план, полагаю, вам знаком?

— Безусловно. Только соревнования стоят в текущем плане, Семен Семенович. Запланированы две недели назад на самое напряженное время.

— Что вы этим хотите сказать, Лидия Григорьевна? — побледнел Семен Семенович. — По-вашему, выходит, я с умыслом санкционировал их?

— Я так не утверждаю, просто констатирую факт.

— Товарищи, я считаю, что подобный тон как со стороны Семена Семеновича, так и со стороны Лидии Григорьевны, совершенно недопустим на бюро, — Переверзев вынужден был подняться, чтобы прекратить перепалку, и тут же наткнулся на вызывающую улыбку Горбуновой, отвел от нее взгляд. Совершенно ясно, что проводить эти соревнования, когда весь город выедет спасать картофель, нельзя. Я предлагаю их перенести. Нет возражений? Нам необходимо утвердить общегородской штаб по проведению субботника и воскресника во главе с Семеном Семеновичем. Проект состава штаба у членов бюро на руках. Нет возражений? Принимается. Семен Семенович, доложите ваши соображения по предприятиям и организациям, кто, в каком количестве и в какие хозяйства поедет.

«Взбесилась наша Валаамова ослица, что ли? — неприязненно думал Переверзев, потирая большим пальцем переносицу. — Вообще-то по распределению нашему село курирует Семен Семеныч, ему и выговоры получать. Почему она пошла в атаку на него да еще с вызывающей улыбкой? Неужели все-таки Семен Семеныч решил одним выстрелом двух зайцев убить? А докладывает он толково — тоже ведь организатор хороший, если захочет, конечно. Задания нелегкие, но все молчат, понимают: надо. А сколько людей в понедельник не выйдет, заболит? Нет, с картошкой нынче у нас прокол, и не только погода виновата. Никифор Никитич ведь управился, сидит вон, скучает. И организация уборки хромает, и работников на селе мало — двадцать процентов трудоспособных, остальные старики да дети. И метеостанция пока молчит, вдруг завтра вечером скажет, когда людям объявят, они разойдутся, что в субботу и воскресенье — дождь! По местному радио можно будет дать отбой. Да, не забыть про местное радио, пусть будут на чеку. План завышен, нам не под силу? Но кто его уменьшит нам — это же смешно!»

Председатель горисполкома, сидевший слева, передал записку. Переверзев прочел: «И. В.! Не забудешь меня поздравить и дать слово для справки? Хочу пригласить всех чл. бюро и даже Сем. Сему. Вышла всерьез и даже удачно. Он залесский, в школе дружили. После армии остался в обл. городе, женился. У него умерла жена, остался мальчик 6 лет, восп. в Залесье у бабушки. Вчера поехала, поговорили-поговоревали, решили из двух несчастий составить одно счастье. Он —

прекр. парень, классный механик по автоделу, так что теперь я «жена механика Гаврилова». Смотрел такой к/ф? Он тоже Гаврилов. Рожу своего, буду рожать общих, беру обязат. не менее 3 общих. Готовь огромную квартиру. Л. Г. Гаврилова».

Переверзев сложил записку вчетверо, спрятал во внутренний карман пиджака, усмехнулся и, взглянув на бывшую Горбунову, кивнул утвердительно. Она в ответ улыбнулась, на этот раз как-то виновато, сжала губы, сосредоточилась и что-то откровенно грустное и очень нервное проступило на ее лице.

Заседание бюро горкома продолжалось.

## ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

В новой гостинице, типичном для НТР изделии из стекла и бетона, похожем ночью на какой-то гигантский пульт управления, только кое-где горели огни, когда Виктор Михайлович Балашов добрался до нее. Он жил здесь вторые сутки, все ему тут не нравилось — далеко от центра, далеко от завода, куда он приехал консультировать специалистов по внедрению автоматизированной системы управления, и готовили в гостиничном ресторане очень уж безвкусно, как-то пересолено, пережарено, переперчено. А у Балашова был гастрит, нажитый отчасти в студенческие годы, отчасти в первое время после развода с женой, которая ушла от него восемь лет назад. Собственно, об этом он никогда не жалел — холостяцкая жизнь наряду с недостатками имела кое-какие и преимущества — Балашов жил в свое удовольствие, купил однокомнатную квартиру в прекрасном кирпичном доме, в хорошем районе, защитил диссертацию, стал почти завлабом, то есть исполняющим обязанности заведующего лабораторией, причем перспективной, стоящей, как он сам любил повторять, на главной магистрали научно-технического прогресса, писал уже последнюю главу докторской диссертации, и по его точно выверенным расчетам будущей весной, точнее через полгода, у него будет достаточно денег на последнюю модель «Жигулей». Всему этому он, естественно, радовался, особенно в минуты, когда задумывался о том, смог бы он достичь подобного, если бы не ушла жена, а пошли дети. Уж он-то насмотрелся, как сотрудники лаборатории приходили на работу невыспавшимися, измученными, замкнутыми, раздраженными — у них всегда дома что-то случалось: болели дети, ссорились они с женами или мужьями, добивались квартир, тратили уйму времени на быт, низвергающий на них новые и новые проблемы, и поэтому не писали вовремя статей, диссертаций, а порой и на работе отдыхали от домаш-

них дел, круговорота явно ненаучных явлений. И когда сотрудники, в основном сотрудницы, подходили к нему и начинали говорить тем единственным, просяще-извиняющимся, но универсальным, вернее, унифицированным всеми тоном: «Виктор Михайлович...», он, не дослушав до конца, зная, что им нужно отлучиться по личным делам, говорил «пожалуйста...». Самому Балашову по таким делам отпрашиваясь с работы не приходилось ни разу в жизни — ему хватало времени зайти в магазин, взять заказ с продуктами, готовить дома на свой вкус, хватало на прачечную, на другие домашние заботы, на работу дома. Телефон в квартире оживал редко — друзей и приятелей он порастерял, к тому же они стали все какими-то пресными, неинтересными и посторонними для него людьми.

Ему забронировали отдельный одноместный номер, так называемый полулюкс, а это значит, что в нем был телефон, два кресла и журнальный столик, письменный стол, настольная лампа, графин, пепельница и стаканы из какого-то синеватого стекла, шкаф с вешалками и даже одежной щеткой, кровать, естественно, и возле нее коврик. Сюда давали два полотенца — махровое и вафельное, имелся совмещенный санузел с укороченной ванной, в конструкции которой угадывались элементы космонавтского ложеента. Виктор Михайлович умылся на ночь, помыл ноги, разобрал постель и лег, думая, какими лютыми врагами устоявшегося образа жизни являются командировки — вот и сегодня не прогулялся перед сном, вместо этого сидел в облаке табачного дыма в ресторане. Будь он дома, в Москве, никогда бы не пошел в подобный трактир, а в командировке решился, и завтра день начнется не так... Он захватил с собой только эспандер, а дома есть гантели, хитроумно встроенная в нишу шведская стенка, есть даже велоэргометр, опять же наподобие космического, но только сконструированный им самим. Раньше Виктор Михайлович по утрам бегал по улице, предотвращая угрозу детренированности мышц, но там был нежелательный фактор — выхлопные газы, а на пятом этаже, которого он добился не без труда, зная хорошо схему циркуляции воздуха в девятиэтажном доме, — в нижних этажах воздух преимущественно всасывается и выходит через верхние (а средними пренебрегает поток); так что с этой точки зрения пятый этаж был самым оптимальным. Теперь влияние сопутствующего фактора было минимальным, к тому же воздух в квартире у него кондиционировался и озонировался. Виктор Михайлович после разминки отправлялся в путь на своем велосипеде в семь десять утра, как хороший автобус без задержек и опозданий, со скоростью тридцать километров в час. Накрутив десять километров на счетчике, ровно в семь тридцать снимал ноги с педалей и слезал с седла, шел в ванную, принимал ее всегда с хвойным экстрактом.

Короче говоря, каждая командировка с неизбежными неожиданностями, передрыганиями и несурзацами для Виктора Михайловича была сущим наказанием.

Он любил точность, аккуратность, последовательность, настойчивость, логичность, обоснованность мыслей и поступков, но верой и богиней, сутью его была оптимальность, представляющаяся часто зримо ему в виде множества кривых, образующих как бы курчавого ежа, только с зигзагообразными извилистыми иглоками, ежа бестелесного, естественно, условного, но с очень важной точкой, которая и связывала и определяла расположение кривых. Убиралась одна кривая или накладывалась еще одна — точка эта, оптимум, смещалась, и начинали шевелиться все иглоки. «Оптимально» — было самым любимым его словом, оно не обозначало в его понимании банальную золотую середину, его понятие было многомерно, не трех- или четырехмерно, нет, именно многомерно.

Он не знал, почему подчиненные, когда он употреблял слово «оптимальный», всегда улыбались, впрочем, значение улыбок не понимал и чувства юмора был лишен начисто. Не знал он, что все его за глаза называли Опти, как и Оппенгеймера называли сокращенно, правда, и в глаза, — Оппи. Лишь один раз молоденькая лаборантка, догоняя его в коридоре института, кричала: «Опти Михайлович! Опти Михайлович!» — и Виктор Михайлович догадался, что его, кажется, так называют, не обиделся, но сказал мгновенно после его слов растерявшейся, побелевшей, а потом покрасневшей сотруднице:

— Меня зовут — Виктор Михайлович...

В двадцать три ноль-ноль Виктору Михайловичу надо было засыпать, и он стал уже чувствовать погружение в сон и смутность мыслей, почти не воспринимал действительность, как вдруг на журнальном столике ожил телефон. Он не звонил, а как бы тихонько порокатывал. Виктор Михайлович, встряхнувшись, протянул руку к трубке и сказал недовольно:

— Слушаю.

— Здравствуйте! — в трубке был жизнерадостный, молодой женский голос. — Извините, что так поздно беспокою вас. Я вам звонила несколько раз, но вас, наверное, дома не было. Вы еще не спите?

— Нет.

— Как хорошо! Как вам понравился наш город? Жаль, что вы Волгу у нас летом не видели, — вздохнула обладательница приятного голоса. — Вы приедете еще?

— Извините, пожалуйста, но кто со мной говорит?

— Разве вы не узнали меня? — спросил голос.

— Нет. Не имею никакого понятия, представьте себе.

— Ой, я знаю, почему вы не узнали меня. — Трубку заполнил звенящий, приятный смех, смех от собственного веселья, который



подкупал Виктора Михайловича, иначе он прекратил бы разговор — ведь могла звонить девица, завязывающая так знакомства с приезжими, — подобные звонки не раз раздавались у него в номерах гостиниц. Виктор Михайлович бросал трубку, побаиваясь таких знакомств, а еще больше — возможных последствий. Но тут он переждал смех незнакомки и задумался над тем, почему он не прерывает разговор. Уж очень искренне, неспорченно она смеялась, подумалось ему, а затем мелькнула мысль: «А не разыгрывает ли меня какая-нибудь из заводских красавиц?» Днем он видел много красивых молодых женщин, которые сидели в конференц-зале, слушая его лекцию. Он не преувеличивал своих внешних данных, но красавец, что и говорить, очки, залысины, грозящие вот-вот воссоединиться на темени, где для этого временем проведена основательная артподготовка, и на месте былого, так сказать, леса сейчас жидкое редколесье, хилый кустарничек. Но Виктор Михайлович знал и свои преимущества — оптимальный вес (73 кг), оптимальный возраст (35 л.), ну и ученая степень и должность вызывают у женщин интерес. Не исключено, что какая-нибудь итээровская Афродита заинтересовалась его персоной.

— Извините, пожалуйста, меня, — сказала незнакомка.

— Пожалуйста, — ответил Виктор Михайлович, удивившись тому, какими игривыми нотками украсил он это слово.

— Можно, я еще раз позвоню?

— Надеюсь, не сегодня? — уточнил и улыбнулся собственному остроумию Виктор Михайлович.

— Нет-нет, не сегодня, — успокоила она и снова попросила: — Можно?

— Буду рад, — разрешил Виктор Михайлович и с опозданием подумал, как легкомысленно пошел на знакомство — его могли разыгрывать, и завтра загуляет по заводууправлению сплетня: приезжий москвич, этот Балашов, в отношении женского пола весьма коммуникабелен, контактен... Он услышал даже интонацию, с какой это все говорилось где-нибудь на женском перекуре.

— Спасибо большое! — еще более жизнерадостно поблагодарила она. — Спокойной ночи!

Он лежал, сцепив пальцы над головой, и размышлял. В конце концов он живой человек, подумал он, как бы полемизируя с невидимым оппонентом, который из абстрактной туманности приобретал обличье его бывшей жены. Да, это она говорила: «Виктор, ты способный, образованный, порядочный в своем роде человек. Тебе можно даже присвоить знак качества, но ты не живой, а консервированный, причем консерва диетическая! А этот деликатес мне не по вкусу!» Да, у него были женщины, но все они как-то быстро девались куда-то, избегали встреч, к чему Виктор Михайлович относился равнодушно и расставался с ними всегда с чувством облегчения.

В последний год он ни с кем не встречался, работая над докторской. Хотя, между прочим, мысль о женитьбе не покидала его, она была только отодвинута на задний план, на потом, и после защиты Виктор Михайлович предполагал вернуться к этому вопросу. Жениться ему надо было — холостяцкий образ жизни не являлся оптимальным. Во-первых, он знал результаты исследования, которые показывали, что наименьшая продолжительность жизни, при всех других равных условиях, — у холостых одиноких мужчин, никогда не женившихся или живших в браке непродолжительное время. Во-вторых, холостяцкий образ жизни неоптимален с чисто физиологической точки зрения. В-третьих, всякий организм должен дать жизнь новому организму — так природа решила, не очень, правда, оптимально, проблему бессмертия. Для этой миссии у Виктора Михайловича был как раз оптимальный возраст. К проблеме продолжения рода он относился не инстинктивно, а совершенно разумно, как, например, электронно-вычислительные машины рассчитывали параметры своих детей — ЭВМ последующего поколения.

Виктор Михайлович был абсолютно уверен, что еще одну ошибку в выборе жены не допустит. Он все просчитает, приготовит ей десятки тестов, исследует в различных ситуациях, а главное — примет окончательное решение во время своего интеллектуального пика. У него дома висела специальная диаграмма до конца года, которую он вел, кстати сказать, из года в год. Диаграмма эта изображала кривые его интеллектуального, эмоционального и физического состояния. Интеллектуальный пик бывал один раз в тридцать три дня, эмоциональный — в двадцать восемь и физический — в двадцать три. Составляя диаграмму, он вычислил, когда точно был зачат, в каком состоянии был каждый родитель при этом... Наиболее благоприятным сочетанием кривых считалось, когда все три они пересекались в верхней точке, то есть все три состояния были на максимуме, а самым опасным — интеллект на минимуме, эмоции и физическое состояние на максимуме. Сочетание физического и эмоционального максимума было идеальным временем для любви, но предложение будущей избраннице Виктор Михайлович решил сделать, когда кривая интеллекта будет на максимуме, а эмоций — на минимуме.

«Черт побери, да я же сейчас в районе эмоционального пика!» — вспомнил вдруг Виктор Михайлович, находя объяснения тому, почему ему почти хотелось говорить с незнакомой молодой женщиной, почему он разрешил ей звонить ему и почему, несмотря на полночь, ему трудно заснуть. Он применил аутотренинг и тут же уснул.

С утра до обеда он уточнял с заведующим отделом научной организации труда Петром Никифоровичем Белых схему информационных потоков внутри завода. Петр Никифорович был старым, седым, немощным уже человеком, некогда бывшим главным инженером завода, и он откровенно подремывал при разговоре, почмокивая

собранными чуть ли не в трубочку вялыми, необычно розовыми губами. Перед началом обсуждения он, видимо, трезво оценивая свои возможности, пригласил в кабинет всех старших инженеров отдела, объявив им, дескать, давайте послушаем умного человека. «У него и физическое, и интеллектуальное, и эмоциональное состояние уже на минимуме,— подумалось Виктору Михайловичу.— И зачем этого человека поставили на такую должность? Ведь от него мезозоем пахнет. Опыт, конечно, тут громадный, но опыт этот относится к периоду до нашей эры! Какое же у него может быть чутье на новое, передовое, какие оригинальные идеи может выдать он на трех минимумах?»

Виктор Михайлович говорил вдохновенно, блистал остроумием, он ведь находился в состоянии эмоционального пика, сочетающегося с интеллектуальным подъемом. Во всяком случае, старшие инженеры не дремали, спорили с ним и между собой, в конце концов растормошили и Петра Никифоровича. Среди инженеров находилась Лада Быстрова — круглолицее, с нежно-добрými глазами существо лет двадцати шести, которое не спорило, а только на Балашова смотрело и еще улыбалось, от чего на щеках обозначались совершенно уж милые ямочки. Он чувствовал, что оно и является тут для него вдохновляющим фактором, и ему хочется понравиться этому фактору, который, кто знает, возможно, и звонил ему вчера в гостиницу.

— Славно мы поговорили, а? — спросил Петр Никифорович, обводя теплым взором своих помощников.— Славно, ведь правда? Спасибо, Виктор Михайлович, спасибо от всех нас, сирых.

— Ну что вы...— запротестовал Виктор Михайлович, не соглашаясь с преувеличенной оценкой личного вклада в общую работу.— Вот вам всем спасибо,— и Виктор Михайлович взглядом задержался на Ладѣ Быстровой,— я узнал от вас столько интересного. Вот что значит союз науки и практики.

— Тогда все свободны,— объявил Петр Никифорович.— Виктор Михайлович, прошу вас, задержитесь на минуточку. И ты, Ладонька-детонька, останься.

Когда все вышли, Петр Никифорович встал из-за стола, подошел к Виктору Михайловичу и, взяв его под руку, заговорил ласковым, убеждающим тоном:

— Ладонька-детонька, Виктор Михайлович у нас в городе один как перст. Но человек должен после работы отдыхать, ему должен кто-то показать город. Я не хочу поручать это дело кому-то из наших мужиков — поить будут гостя, басурмане, а затем и похмелять. Ты же воспитанная девочка, покажешь гостю город, или тебя женихи одолевают? Как, детонька, относишься к моей задумке?

— Пожалуйста, Петр Никифорович, я постараюсь,— ответила неопределенным тоном Быстрова и мельком, заговорщически взглянула на Балашова.

— А вы как, Виктор Михайлович? Не возражаете?

— Разве я смею возражать, Петр Никифорович?

— Вот и добренько. В кинишко, в театр, Ладонька-детонька, а нужно куда-нибудь поехать за город, закажи машину, чтоб все было чин чином. На субботу и воскресенье возьми в завкоме путевки в наш дом отдыха. Директор дал нам большие полномочия... Уровень будет высокий, детонька,— обещаю три дня отгула. Ты же в Ленинград собираешься поехать? Какие возникнут затруднения — обращайся ко мне. А сейчас проводи, Ладонька, Виктора Михайловича в руководскую столовку, пообедайте там. Приятного вам аппетита.

— Славный он человек, Петр Никифорович,— говорила по пути в столовку Ладонька-детонька.— Знает завод до винтика, всю жизнь проработал на нем.

— Почему он не уходит на пенсию?

— Остался один. Жена умерла, сын погиб на фронте, кроме завода, у него ничего нет. Кстати, его сын и мой папа были друзьями с детства. И воевали вместе. Поэтому не удивляйтесь, когда Петр Никифорович называет меня «Ладонька-детонька», он еще иногда говорит мне «внученька». Скажет так, и я начинаю реветь, поэтому он остерегается называть меня так... Послушайте, Виктор Михайлович, у меня идея! — воскликнула Лада, схватив его за руку и останавливаясь.— Куда я вас сегодня могу повести? Ума не приложу не знаю, где что идет. Я даже хотела попросить у вас на сегодняшний вечер «отгул»,— она улыбнулась, но увидев, что Виктор Михайлович готов сказать ей «пожалуйста», запротестовала,— нет, нет, нет! Просто я должна продумать хорошо программу, созвониться с кем надо. Я домохозяйка, а подружки выходили замуж давно. Готовлюсь поступать в аспирантуру, отстала от жизни. И вот подумала: почему бы не познакомить вас с моим отцом? Он оригинальный человек. Жалко, мамы нет дома, она у нас певица, певичка, как называет ее папа, она бы приготовила славный ужин. Вы не против?

— Предложение принимается. Я человек одинокий, для меня семейная обстановка — бальзам.

— Вот и добренько, как говорит Петр Никифорович. Я созвонюсь с папой, предупрежу. Кстати, я рассказывала ему вкратце о вашей лекции, и он будет с вами спорить. Я вас предупреждаю об этом.

— А кто он, как говаривалось раньше, в миру?

— Литературовед, критик, доктор наук, профессор, но основная специальность — спорщик.

— Инти-инти-интересно,— вальяжно произнес Виктор Михайлович.— Мне нужно готовиться, значит?

— Он такой спорщик, что подготовиться к разговору с ним невозможно.

— Те, кто его не знает хорошо, иногда даже обижаются. Он почему-то любит донимать женщин, особенно тех, кто норовит способ-

ного человека взять под каблучок. Он им, например, заявляет: «Великий Рим погубили свинцовый водопровод и женщины!» Еще он изводит женщин рассказами о том, почему огромные паучихи пожирают своих крошечных супругов — пауков, объясняя это деградацией паучьего рода. Я вас не наугала?

— Нет,нисколько, к тому же я не женщина.

— Тогда приходите в восемь вечера на центральную площадь, к фонтану. Мы живем рядом.

В восемь вечера Виктор Михайлович прибыл к фонтану, побывав предварительно в нескольких цветочных магазинах в поисках подходящего букета. Везде были только или комнатные цветы или связочки прутиков багульника, завезенного сюда из Сибири, который и дарить-то было неудобно. Прекрасно цветет багульник, но пока это были лишь прутики, похожие на жидкие дворницкие метелки. В конце концов в одном магазине нашлись гвоздики — Виктор Михайлович взял две красные, две розовые и одну белую гвоздику, завернул их в бумагу и уложил бережно в портфель — на улице все-таки было холодновато. Теперь он ходил вокруг запорошенного снегом фонтана, протирал запотевающие стекла очков и всматривался в бледные при неоновом освещении лица женщин, потому что не знал, как выглядит Лада Быстрова в зимней одежде.

В пять минут девятого Виктор Михайлович увидел ее — она пересекала площадь наискосок, шла быстро, почти срываясь на бег, в дубленке с белым тонкорунным воротником. На голове у нее была белая вязаная шапочка, которая ей очень шла.

— Вы не замерзли? Я пельмени приготовила из трех сортов мяса — пальчики оближете. Возьмите меня под руку, Виктор Михайлович, у меня такие скользкие сапоги, — попросила она.

Быстровы жили в большом шестизэтажном доме с лепными украшениями, которые Виктор Михайлович не смог различить через запотевшие очки. В подезде он наконец снял, протер их; они поднялись на второй этаж, к двери с медной табличкой: «Профессоръ Иванъ Ивановичъ Быстровъ».

— Это друзья подарили, когда папе дали профессора, — объяснила Лада.

— Милости просим, — сказал хозяин в прихожей, взял у него пальто и шапку, повесил на рога оленя. — Что ж, будем знакомы, — он крепко пожал Балашову руку, — Виктор Михайлович Балашов? Весьма приятно, я даже читал вашу книгу об информации, написанную для нас, дилетантов, довольно умело.

Быстров, не стесняясь, пристально рассматривал гостя, пока тот приглаживал волосы, копался в портфеле, извлекая гвоздики.

Иван Иванович был громким человеком. Он всегда кричал дома, потому что у него была большая квартира, которую он за многие годы основательно натолкал самыми невероятными вещами. Просторный

кабинет был набит книгами, целую полку занимали старинные фолианты в ветхой, изъеденной временем коже; книги были везде — на столе, в шкафах и на шкафах; на диване, на креслах, на стульях, на полу; он тут же похвастался перед гостем, что недавно достал за большие деньги редчайший двухтомник философа Федорова, которого очень высоко ценил Толстой и который недооценен потомками, показал и «Домострой». «Здесь много любопытного,— сказал он,— а то все кричат «домострой, домострой», а никто его не читал. Во всяком случае, эта книга познавательнее любого «Домоводства». А это «Лексикон словеноросский» Памвы Берынды, представьте, за двадцать копеек куплен...» Кроме книг, в кабинете Ивана Ивановича было множество старинных икон и русских орденов, в углу стояла полутораметровая деревянная ложка, под ногами валялась чурка какого-то плотного белого дерева — оказалось, что это кусок мамонтового бивня, на полках были образцы редких камней, лежал разошедшийся уже кокосовый орех, рядом с ним длинная, слегка изогнутая кость. «Это моржовый, тот самый, да-да», — объяснял хозяин по ходу краткой экскурсии.

— Лада? Скоро? — закричал он вдруг так, что Виктор Михайлович от неожиданности даже вздрогнул.

— Иду! — донеслось из глубины квартиры.

— Надо убрать это к чертовой матери, — сказал хозяин и принялся очищать видавший виды огромный письменный стол, на крышке которого из-под хлама стали показываться характерные круглые пятна размером в дно стакана. Наконец он успокоился, но в динамическом смысле, кинетический же потенциал у него был огромен — Виктору Михайловичу казалось, что хозяин опять вот-вот сорвется с места и заорет. Иван Иванович был в старом, с обвисшим воротником грубом сером свитере, он непрерывно курил, сбрасывая небрежно пепел в огромную пепельницу. Профессорского у него не было ровным счетом ничего, на улице в таком виде, с таким серым лицом, невыразительным лбом, с короткими волосами, торчащими над правым виском, как соломенная стреха, его можно было принять за классического дядю Васю, который за трешник ни в коем случае не станет чинить водопроводный кран.

— Умница! — закричал Иван Иванович, увидев посреди подноса бутылку коньяку в окружении холодных закусок.

— Папа, осторожно, — взмолилась Лада, когда он каким-то образом выгнал за пределы тарелки шпроты. — Подожди немножко, я салфетки дам.

— А-а, — махнул рукой Иван Иванович, решительно наполняя рюмки. — Будем! Очень рад познакомиться! — и вслед дочери, на кухню: — Капусты свежей принеси побольше! Капусты!

«Деспот, тиран в семье, — подумалось Виктору Михайловичу, — недаром «Домостроем» восхищаются».

— Вам не нравится коньяк или вы мало пьете? — спросил Иван Иванович, увидев почти полную рюмку Балашова. — Гастрит? Если хотите, у меня есть настойка золотого корня. Ему цены нет. Это алтайская штука, растет только в горных реках. Не хотите? Напрасно... Было облепиховое масло — другу отдал. Да снимите вы свой пиджак, галстук расступоньте, почувствуйте себя как дома, а не на каких-нибудь экосезах... Так вот, я читал вашу книжку. — Быстров говорил без всяких переходов, не теряя времени на всестороннее обоснование своих мыслей. — Я не пойму, вы считаете информацию всеобщей категорией материи, как время, пространство? Из вашей книги я не понял, вы — за или против?

— Это вопрос философский, Иван Иванович, на эту тему много писал Урсул, — уклончиво ответил Виктор Михайлович.

— Читал, но мало понял. Как дохожу до ваших формул, чувствую себя дураком и жалею, что не силен в математике. Хотя, кто знает, может, к старости поднатаскаюсь в вашей грамоте. В теории информации много любопытного — читал труды отца вашего Шеннона, и нашего Колмогорова, и англичанина Черри, и француза Абрахама Моля, который попытался применить теорию информации в анализе информационности музыки, и так далее и тому подобное. Только на мой непросвященный взгляд, Моль больше доказал не всеобщность информации, а ограниченность ее теории или неразработанность. А попалась мне краткая библиография трудов по информации — батенька мой, сколько наворочено и написано! Шум, шум, шум, как вы называете...

— Извините, но в связи с чем вы, литературовед, заинтересовались теорией информации? — спросил Виктор Михайлович.

— Гм... — проворчал Быстров и откинулся в кресле. — Отвечу вопросом. Вы считаете научно-техническую революцию самой важной и существенной чертой нашего времени?

— Разумеется.

— Почему «разумеется»? — выкрикнул Быстров. — А если ее нет, не существует в природе и она является просто фигуральным, образным выражением газетчиков, а множество людей с умным, точнее, наукообразным видом стремится доказать нам, что она есть?

— Иван Иванович, вы серьезно отрицаете существование научно-технической революции? — спросил, чтобы удостовериться в услышанном, Виктор Михайлович.

— Революции — да...

— Очень опрометчиво, — заметил валяжно Виктор Михайлович. — Научно-техническая революция оказывает колоссальное влияние на жизнь современного общества. Как же это можно отрицать? Впрочем, такой подход не нов, его на Западе используют мелкобуржуазные радикалы.

— Оставим радикалов в покое, — поднял руку Быстров, как бы гася разгорающийся спор. — Хотите, я вам расскажу краткую историю вопроса. В моем, естественно, понимании. Лет двадцать назад, с вашей точки зрения, можно сказать в доэнтэровское время, помнится, разгорелась одна жаркая дискуссия: «физики» или «лирики». Изломали множество копий, израсходовали фантастическое количество бумаги, отняли миллиарды часов времени у людей, чтобы прийти к выводу: и те и другие — главные и важные. Однако научно-технократическая мысль не дремала — подсунула то же самое, только в другой обложке: научно-техническая революция — нате вам, а ну-ка, кто в контрреволюционеры готов рядиться? И, как водится, пошла писать губерния — всё стали рассматривать с точки зрения так называемой эпохи НТР. Литература эпохи НТР, живопись эпохи НТР, только вот, кажется, до балета еще не дошли, но и там, говорят, пробивают что-то эдакое научно-технически революционное. Скажите, откуда такая амбиция? Вас что, не удовлетворяет термин «научно-технический прогресс»? Ведь прогресс-то никто не отрицает, хотя к нему тоже надо подходить диалектически.

— Вы имеете в виду ущерб окружающей среде?

— И это тоже! — выкрикнул Быстров. — Здесь мы, пожалуй, подошли к тому критическому, но и, с другой стороны, отрадном моменту, что стали задумываться: как вообще спасти Землю и как спасти себя, человечество.

— Но ведь одной из задач научно-технической революции, — Виктор Михайлович не без удовольствия выделил голосом три последних слова, — как раз и является поиск путей восстановления окружающей среды, принципиально новых способов обеспечения энергетических потребностей, рационального использования природных ресурсов. Если сегодня наш дом, земной шар, довольно загрязнен, так виноваты не научно-технические достижения, а наше незнание, головотяпство. Нельзя сбрасывать со счетов и порочную систему хозяйствования в капиталистическом мире, именно НТР обостряет в нем противоречия. Кроме того, Иван Иванович, отрицая огульно достижения научно-технической революции, хотите вы этого или не хотите, но уменьшаете достижения нашей страны в научно-технической области, роль научно-технической интеллигенции в экономической и духовной жизни страны, — разошелся Виктор Михайлович. — Я знаю, с какой жадностью эта интеллигенция интересуется литературой и искусством, вообще гуманитарными дисциплинами. Это весьма образованный и культурный народ...

— Все это, можно считать, так, но я не пойму — при чем здесь все-таки научно-техническая революция? Почему вы нередко заявляете: дескать, это результат научно-технической революции, и это, и это, нередко присваивая то, чего мы добились благодаря социальной революции, революции Октябрьской? В эпоху НТР, мол, сглажива-



ются противоречия между двумя системами, не играют уже такой роли национальные особенности. Есть прямо-таки ультраэнтэрреволюционеры, которые не прочь механизировать, автоматизировать или вовсе эвээмизировать духовную жизнь. Заставляют машину писать стихи, писать музыку...

— И пишет стихи машина, и музыку пишет! — разгорячился Виктор Михайлович.

— Да, да, стихи! Но какие?

— Пожалуй, не хуже многих, которые печатаются.

Иван Иванович приумолк, плеснул в рюмки коньяку и с лукавой улыбкой спросил:

— Значит, в будущем машины, когда станут совершеннее, станут писать стихи еще лучше?

— Безусловно, — ответил Виктор Михайлович, настораживаясь.

— Говорят, сейчас у американцев есть более совершенные машины, чем у нас. Да?

Виктор Михайлович не ответил, но кивнул.

— Стало быть, — закричал победно Иван Иванович, — сейчас американские машины могут писать русские стихи лучше наших? Хах-ха-ха! — забегал он по кабинету, взявшись руками за голову. — Вы меня убедили! Хах-ха-ха! Да понимает ли ваша машина, что есть стихи, а есть поэзия! Это же не одно и то же! Хах-ха-ха!

— Папа! Папа, что с тобой? — вошла с подносом Лада. — Папа, успокойся, это же неприлично — так себя вести!

— А это прилично, это прилично — путать стихи с поэзией? Понимаешь, американские машины могут писать стихи на русском языке лучше наших машин!

— Ну и что, папа, завтра наши будут писать лучше... Поэтому, пожалуйста, сядь за стол. Смотрите, какие я вам пельмени принесла.

— Ладно, Лада, отведаем пельмени эпохи НТР. Или ты их дореволюционным способом лепила? — спросил Быстров, усаживаясь в кресло. — До НТР пельмени — они лучше, индивидуальнее. Машина ведь ни души, ни совести, ни родной земли не имеет, хотя на ней и есть бирка с указанием места изготовления. Поэтому ЭВМ-поэта легко купить-продать... М-да-а, но пора, однако, приступать к пельменям.

Лада тоже села к столу и, накладывая мужчинам пельмени, приговаривала и отвлекала их от спора:

— А вот еще какая привлекательная пельмешка. Еще? Виктор Михайлович, не обижайте меня. Если вы будете так есть, меня Петр Никифорович в Ленинград не пустит, — и, обращаясь как бы только к нему одному, сказала: — Я не виновата, что вы с папой повздорили. Предупреждала вас: он человек невыносимый.

— Нет, почему же. Ваш отец очень интересный человек, но он страдает профессиональным комплексом неполноценности. Вы не обиделись, Иван Иванович?

— Терпеть не могу ученых слов — комплекс, индекс, коммуникабельность.— Быстров выговаривал эти слова, кривя губы, пока не отправил в рот пельмешку.

— Нет-нет, вас не устраивает второстепенная роль вашей науки, вообще гуманитарных дисциплин, которые все больше попадают в зависимость от физики, математики...

— Эх, молодой человек,— покачал головой Быстров.— Вы не первый, кто так свысока смотрит на гуманитарные науки. Еще в прошлом веке Тургенев писал о таком герое. Вспомните, «гуманитас» в переводе с латыни означает «человечество». Че-ло-ве-че-ство! А что важнее всего с точки зрения науки и искусства — да прежде всего знать самих себя. Нам будет лучше и мы будем лучше, чем больше будем себя знать. Прошу при этом понимать меня не только буквально, я же вижу, вы уже готовы опровергать!.. А вот узнаем мы все о себе и своем окружении или же никогда не дойдем до конца этого пути?.. Пожалуй, никогда — ведь тогда человечество деградирует от тоски и абсолютной бессмысленности существования. По поводу первостепенности-второстепенности скажу: в последние годы в нашем университете гораздо больше желающих поступить учиться на гуманитарные и естественнонаучные специальности, чем на технические, физические и математические и так далее. Кто знает, почему так. Может, это объяснимо в какой-то степени с точки зрения Чижевского, зависит от солнечной активности, как от луны — приливы и отливы. Возможно, сейчас, так сказать, «гуманитарный муссон», затем будет ваш «муссон», и тогда люди, вместо того чтобы стоять трое суток в очереди за подпиской на Пушкина, будут пять суток стоять за таблицей логарифмов. Короче говоря, как говорит один мой знакомый: «И вот приехал я в Москву, а тут Вася...» Хах-ха-ха!

— Папа,— напомнила о приличиях Лада.

— Вы слишком утрируете все, профессор,— сказал Виктор Михайлович и спросил: — А кто этот Вася? Слесарь?

— Почему слесарь? Просто Вася,— объяснил Быстров, передернув плечами, подчёркивая и свое малое понимание.— Поговорка такая. Брøde бы в ней ничего и нет, но есть что-то...

— А-а,— согласился Виктор Михайлович, но сколько бы он ни сосредоточивался на непонятном, так ничего и не понял, а затем, увидев намерение хозяина, стал отказываться: — Я не буду. Не могу...

— Я принесу чай,— с готовностью поддержала его Лада и вышла на кухню.

— Тогда на посошок, а?

— При условии, что за научно-техническую революцию,— не без иронии предложил Виктор Михайлович.

— За научно-технический прогресс! За революционный подход к нему! Да, за подход! Вы же путаете цель и средство. Ее надо еще совершить, а вы ведете себя так, словно она давно у вас в кармане.

— Нет, за научно-техническую революцию!

Иван Иванович прямо-таки рассердился на Балашова и отставил рюмку. Переплетя пальцы и сжав их в один большой кулак, поставил его ребром на край стола и, сдерживая себя, заговорил:

— Заблуждайтесь на здоровье. Но я не пойму вас, Виктор Михайлович. Вы читали лекцию об оптимальности, а ратуете вдруг за революцию. Оптимальных революций не бывает. По своей натуре вы очень осторожный человек, и вдруг — энтээрреволюционер! Да какой с вас, технократов, спрос — даже высокообразованные и талантливые гуманитарии бывают подчас сбиты с толку каким-нибудь техническим новшеством. Хотите один поучительный пример? Пожалуйста.— Быстров поковырялся в недрах стола и извлек пухлую папку.— Вот: «Мы живем в мире телеграфов, телефонов, биржи, театров, ученых заседаний, океанских стимеров, поездов-молний, а поэты продолжают оперировать образами, нам совершенно чуждыми, сохранившимися только в стихах, превращающих мир поэзии в мир неживой, условный...» Много правильного, только вот что такое стимер, еще помните?

— Стимер — по-английски пароход.

— Верно. Дальше. «Такому пониманию поэзии, как случайного выражения своих впечатлений и личных переживаний, как чисто схоластической разработки однажды навсегда установленных тем, искатели «научной поэзии» противопоставляют свой идеал искусства, сознательного, мыслящего, определенно знающего, чего оно хочет, и неразрывно связанного с современностью». Снова много правильного, излишне рационально только, запрет на личные переживания немножко напрасный. Но через тринадцать лет этот же автор написал совсем другое. Вот оно, без суеты, суесловия, шараханья в крайности: «Вообще можно и должно проводить полную параллель между наукой и искусством. Цели и задачи у них одни и те же; различны лишь методы». Не догадываетесь, кто автор?

— Иван Иванович, я не специалист в ваших областях. И простите, мне показалось, вы жалуетесь на беспорядки, так сказать, в своей епархии, а обвиняете в них нас. Странные у вас, гуманитариев, литераторов, людей искусства, привычки. Чуть что не так у вас, вы тут же стараетесь озаботить своими чисто профессиональными, да и личными проблемами все человечество! Разбирайтесь в своем хозяйстве сами в конце-то концов!

— В ваших словах есть резон, есть,— сказал Быстров.— Может, вы все-таки позволите мне назвать автора приведенного текста?

— Пожалуйста.

— Это Валерий Брюсов.

Виктор Михайлович почему-то поморщился, а затем твердо, стараясь овладеть положением, спросил:

— Профессор, что вас так тревожит и беспокоит? Может быть, страх, что литература и искусство подарили столько прекрасных произведений человечеству, но оно уже не в состоянии использовать их с достаточной степенью эффективности? Должно быть, только поэтому вы заинтересовались теорией информации. Может, зависть вас гложет — ведь плодами научно-технической революции через сравнительно небольшой отрезок времени пользуется буквально каждый человек прямо или косвенно? Современному человеку, извините, лучше хорошо знать автомобиль, чем «Илиаду». А компьютер знать — вообще обязательно.

— Вот-вот, — рассердился снова Иван Иванович, но на этот раз не стал сдерживаться. — Рационалисты, прагматики, скептики! Это и беспокоит! «Илиада» — вечная ценность, автомобиль же ваш — это все равно, что какое-нибудь ландо. Было — нет его! Один не лишенный остроумия человек, наблюдая за ходом битвы у Лейпцига между войсками Франции и Германии и находясь под впечатлением только что прочитанного «Агамемнона» Эсхила, сказал: «Государства погибают, но хороший стих остается!» И я Брюсова привел, чтобы убедить вас: вся-то суть в уважении науки к поэзии и поэзии к науке, более того, в содружестве и сотрудничестве. Ведь не случайно в голове два полшария, и они помогают друг другу. Без диктата!.. Существует теория ограниченности систем австрийского математика, как его... Фу-ты, надо же, забыл, подскажите же, Виктор Михайлович!

— Не волнуйтесь. Вы имеете в виду Гёделя?

— Да, Курта Геделя! Не могу знать, как к нему относятся специалисты, однако меня, дилетанта, поразило то, что каждая математическая система имеет естественный предел своих возможностей. Я так понял: доходит какая-то система до своего предела в познании объекта, вступает в права другая система и так далее. Поэтому мы вправе, скажем, рассматривать поэзию и науку в качестве отдельных систем, дополняющих и обогащающих друг друга в познании мира. А Брюсов, видите ли, куда сиганул — «научная поэзия»! К сожалению, к прискорбию даже вам все слишком понятно. А что непонятно, вы тут же на ЭВМ посчитаете, смоделируете проблемку и решите ее!.. Когда пойдем вас провожать, расскажу об одном человеке, а пока запомните эту каску. — Быстров снял с полки красноармейскую каску, показал на круглое оплавленное отверстие на макушке. — Запомните эту дырочку. — Он поставил каску на место и продолжал: — А пока я вас, одного из тех, кому все давным-давно ясно и понятно, спрошу: скажите, кто первый из наших соотечественников увидел Землю из космоса?

— Иван Иванович, я чувствую, что здесь снова какая-нибудь ловушка, и знаю: что бы вы ни сказали, вы скажете чудовищную вещь. Юрий Алексеевич Гагарин — вот вам мой ответ!

— Конечно, он первый побывал в космосе, первый видел физически Землю оттуда. Никто не собирается приуменьшать его подвиг и приоритет нашей страны. Однако есть все основания считать, что до него был человек, который тоже видел ее оттуда, который точно знал, как она оттуда выглядит. Представьте себе, точно знал, как смотрится наша старушка. Знал!.. Помните строки одного из последних стихотворений Лермонтова: «В небесах торжественно и чудно... Спит земля в сияньи голубом»? Откуда было знать поручику Тенгинского полка, что Земля действительно «спит в сияньи голубом»? Согласитесь, такая интуиция, такое воображение — это загадка. Если кому-то нравится считать лермонтовскую строку случайностью — пусть будет так. Но мне кажется, что это стихотворение написано богом, а не человеком. Может, наши потомки станут такими бого-человеками по силе своего духа безбрежности воображения и высочайшему уровню мышления? Да, это, должно быть, и есть нормальный человек.

Остаток вечера прошел спокойно — Иван Иванович Быстров больше не кричал, не всхлывал, не пил коньяк. Заметно было, что он разрядился, наговорился всласть, и они почти по-светски беседовали о науке управления, когда Лада принесла чай. Кофе в доме Быстровых не пили, Иван Иванович считал его варварским напитком, совершенно бессмысленным для человека, если, конечно, он не собирается отплясывать какой-нибудь боевой танец.

Лада осталась дома убирать посуду, это огорчило Виктора Михайловича, зато теперь он был убежден — звонила в гостиницу не она, и подумал, что, если еще раз раздастся звонок, надо отругать назойливую девицу. Иван Иванович в прихожей не надел, не вошел даже, а как бы впрыгнул в большие серые валенки, облачился в старомодное полупальто, прикрыл голову такой же старомодной шапкой-пирожком.

На площади было пустынно, тихо, морозно. Быстров похваливал чистый морозный воздух, подышал им с удовольствием с минуту и тут же закурил.

— Ах, черт побери, надо было вызвать такси! — вспомнил он с досадой.— Пойдемте на автобусную остановку, а по пути будем ловить такси. Так вот, об одном человеке...

Балашов вздрогнул внутренне — вспомнил все-таки он о своем обещании, будет опять рассказывать...

— Был у меня друг детства Коля Белых, сын Петра Никифоровича. Учились в одном классе, но, пока я окончил десятилетку, он прошел весь курс математического факультета. Одновременно окончил затем и филологический факультет. Поразительная память, совершенно безграничная доброта и полнейшая базазащитность — это Коля. Он многие книги знал наизусть — наверное, он ничего не забывал... Был такой случай. Появилась в нашем доме испан-

ская девочка, раненая, на костылях. Разумеется, мы, мальчишки, в нее все влюбились, а Коля, чтобы научить ее русскому языку, сам выучил за несколько недель испанский... А потом война... Вместе служили. Я в разведроте, а он в штабе переводчиком. Вначале он тоже был в разведроте, но я как-то увидел командира дивизии, рассказал ему все, упросил взять Колю в штаб, сохранить ему жизнь... Сам-то, он, конечно, ничего не знал о моих, так сказать, интригах... Летом сорок третьего Коля вдруг зачастил ко мне, с ним что-то происходило, что-то мучило его... Может быть, он предчувствовал, что мне оставаться в живых, и рассказывал, рассказывал, рассказывал... Однажды взяли в плен немецкого полковника, приказали доставить в штаб армии. Пока готовились к поездке, мы лежали с Колей на плащ-палатке в чудесном бору на берегу Донца. Философствовали, как обычно. «Ваня, понимаешь,— говорил он мне,— мы еще не знаем всех возможностей искусства. Научный путь познания мира — он все-таки измерительный, умозрительный, рациональный, технологический... А искусство (кстати, он терпеть не мог выражения — литература и искусство, словно литература — не искусство) сочетает в себе осмысление мира с его обчувствованием. Это органичный, чисто человеческий и более древний путь познания. Возможности его совершенно фантастические, результаты могут быть ошеломляющие. Только была бы правильная методика, истинная, не ложная, не субъективная.. Взгляни на звезды — видишь, какие они сегодня большие и яркие? Лермонтов почти перед смертью написал: «и звезда с звездой говорит». Там есть совершенно гениальные строки: «В небесах торжественно и чудно... Спит земля в сияньи голубом». Он видел нашу землю оттуда, оттуда, понимаешь?»... А потом, Виктор Михайлович, в небе загудел самолет. На войне они, знаете, часто летают. Коля же прочел тогда стихи Федора Глинки:

И станет человек воздушный  
(Плывя в воздушной полосе)  
Смеяться и чугунке душевной,  
И каменистому шоссе.

Так помирится же, дороги,—  
Одна судьба обеих ждет.  
А люди? — люди станут боги,  
Или их громом пришибет.

Может, мне сейчас так кажется, не знаю, но мне почему-то помнится, что он несколько раз повторил последние строки: «А люди? — люди станут боги, или их громом пришибет». Наверно, когда он говорил, осмысливал их и обчувствовал... Утром мы тряслись в кузове полторки. В кабине сидел майор-штабист. Сидели плечо к плечу,

спиной к кабине. Немец перед нами на скамейке. Пошел дождь, остановились в поле — впереди тоже стоят машины. Чернозем в дождь — не асфальт. Погромыхивает, вокруг — ни кустика, спрятаться негде. Потом гроза разошлась, и вдруг в глазах у меня сверкнуло, помню только, как летел с кузова на землю. Рядом шмякнулся и немец. Я поднялся, не соображая, что же произошло. Заглядываю в кузов — лежит посиневший Коля. Дырочка на каске, разорваны сапоги. Не меня убило, я же рядом сидел, не немца, не в другую машину молния ударила, а именно в Колю. Немец, вояка, молился, став на колени.

— Все это чистая случайность, — не хотел говорить этого, но все-таки сказал Виктор Михайлович.

— Все-то вам понятно! — с укоризной произнес Иван Иванович. — А для меня загадка. Чем объяснить? Виютки у него были помощней наших, что ли, или, может, природа вообще, да и люди тоже, очень ревниво относятся к таким, как он? Посредственность предпочтительнее?.. Я ведь в этой каске до конца войны ходил — и ни царапины... Это можно назвать случайностью... Только потом я понял, что он был гениальным человеком, но ничего не успел сделать. Неужели он, читая стихи Глинки, уже предчувствовал то, что произойдет утром? Хотя почему неужели — обстоятельства своей смерти многие описали — тот же Лермонтов, Пушкин, Джек Лондон... Для меня это загадка, Виктор Михайлович, на всю жизнь загадка. Загадка...

Быстров умолк, прикурил и больше не говорил ни слова. Показалась машина с зеленым огоньком. Суетливо кинулся с поднятой рукой на проезжую часть, открыл дверцу:

— Садитесь, Виктор Михайлович. Заходите еще, спорить будем! — но дверцу не спешил отпускать и вдруг, когда Виктор Михайлович уже сел, стал опять кричать: — Да, наш спор напоминает полемику слепого с глухим! Знайте, не без умысла я вас так заводил, но и знайте: такие, как вы, правильные и деловые, всегда нам были нужны, особенно сейчас. Делайте свою революцию, но делайте, а не болтайте, и не революцию для революции, а для отечества, человека, души его! Не будьте глухими к душе, иначе у нас вместо чувств заведутся транзисторы!.. Чао!

Балашов вернулся в гостиницу уставшим, прямо-таки с гулом в голове от громкого Быстрова, неудовлетворенным — вечер был сумбурен, профессор юродствовал, а он, Виктор Михайлович, вел себя большей частью так, словно рейсшину проглотил. «Закомплексовано у профессора несколько цепей, — думал он, — неврастеник самый обыкновенный, вульгарис по-латыни, и вообще — какая-то богема. Он суеверен, да, да, суеверен. В голове у него жуткая мешанина — мезозоя и науки, странных фактов, амбиции и совершенно диких выводов! А Коля, Коля этот его — совсем прелесть, этакий вундер-

кинд, пророк в собственном отечестве! Стихи Глинки и смерть на следующий день от молнии — ха-ха! Какая же здесь загадка? И я хорош, ох, хорош — Ладонька-детонька на защиту мою встала, дожил! Спать... спать...»

Виктор Михайлович отвлекся от воспоминаний — сон есть сон, о нем он беспокоился особенно ревниво. Но какие бы ни были богатые навыки аутотренинга у Виктора Михайловича, уснуть никак не мог — мелькали перед глазами Быстров и Ладонька-детонька, причем Быстров продолжал спор, орал и размахивал руками, корчил злорадные гримасы. Лада стояла перед столом с полным блюдом дымящихся пельменей и преглупо улыбалась. От вида этих пельменей у Виктора Михайловича перехватывало горло — зачем он только ел их перед сном? «Нет, пельмени прекрасные, восхитительные, вкусные, легкие, полезные, какие они хорошие. Хорошие, хорошие... После них такой легкий, приятный сон...» — начал мысленно твердить Виктор Михайлович, стараясь успокоиться и уснуть.

В конце концов впечатления дня в его сознании смазались, растворились друг в друге, он перестал их воспринимать, а затем они и вовсе развеялись, и тогда он уснул — беспмятно и облегченно. Через некоторое время он стал осознавать, что спит, но его что-то беспокоит, настойчиво требует к себе внимания. С сожалением выпутываясь из забытья, понял: телефон. В полусне-полусознании взял трубку, сказал что-то еще беспмятное и услышал в ответ вчерашний жизнерадостный юный женский голос. Она говорила с нетерпением — еще бы, целый вечер звонила («По какому праву?» — мелькнуло у Виктора Михайловича), а теперь уже, наверное, слишком поздно. Она просила прощения за беспокойство, и он, пока пришел в себя, извинил ее, уверил, по привычке быть вежливым с дамами, что, мол, ничего страшного тут нет. К удивлению Виктора Михайловича, первой его мыслью, когда сознание полностью вернулось к нему и вспыхнуло, как лучевая трубка, не имеющая никаких пространственных и временных ограничений, было: «И вот приехал я в Москву, а тут Вася!». Это было настолько неожиданно для него самого, что он, зажав ладонью микрофон, засмеялся, захохотал даже — ему открылся юмористический смысл этого странного выражения.

Виктор Михайлович будет болтать по телефону с неизвестной девушкой, назвавшейся Таней, до трех часов ночи. Станный этот разговор закончится тем, что будет назначено свидание на пять часов вечера. Виктор Михайлович начнет готовиться к свиданию, зайдет в знакомый цветочный магазин, выйдет с букетом гвоздик, найдет к пяти часам условленную аптеку и станет прохаживаться возле нее ровно в семнадцать ноль-ноль, приглядываясь близоруко к каждой молодой особе женского пола. В семнадцать десять он забеспокоится,



в семнадцать двадцать встревожится, в семнадцать тридцать назовет себя ослом, но будет прохаживаться возле аптеки еще пятнадцать минут. В семнадцать сорок пять на шапку и пальто Виктора Михайловича будет лежать толстый слой снега — он весь день тихо и густо шел. Увидит Виктор Михайлович на углу мусорный ящик (поразительно, но в виде безобразнейшего широкого металлического и раскрашенного белой и черной краской пингвина!), швырнет в поганый зев этого чудовища гвоздики и уйдет от аптеки в отвратительнейшем настроении, проклиная себя за доверчивость, мальчишество, глупость.

Вечером позвонит Таня. Она станет со слезами просить прощения у Виктора Михайловича, утверждая, что она не могла прийти. Виктор Михайлович холодно простит и положит трубку.

Таня действительно не могла прийти на свидание. Это была совсем юная, чистая и красивая девушка, но с ней случилось несчастье — она тяжело болела и вот уже три года не могла ходить. Она жила в доме напротив аптеки, ее подружки-девятнадцатилетние, помогающие ей учиться, назначали мальчикам свидания, влюблялись, разочаровывались. Жизнь эта как-то шла мимо Тани, она тоже мечтала о любви и свиданиях.

Получилось так, что до Виктора Михайловича в номере гостиницы жил профессор, который приезжал ее смотреть. Таня знала номер этого телефона. Надо сказать, что телефон у Тани появился совсем недавно. Свободных номеров в их районе не было, и заведующая аптекой пошла навстречу родителям девушки — разрешила установить в квартире параллельный аппарат. И Таня названивала по вечерам по всем телефонам, радуясь, как расширяется ее мир, как много интересного она узнает. Однако бесконечно тревожить одних и тех же людей было неприлично, и вот однажды, когда она поговорила по всем известным телефонам, а ей было скучно и тоскливо, Таня решила набрать номер гостиницы, в котором еще неделю назад жил профессор.

Виктор Михайлович был вторым ее вот таким знакомым, и первым, которому она решилась из любопытства назначить свидание. Говорила она ночью из-под одеяла, чтобы не слышали в другой комнате родители, весь день готовилась к свиданию, ждала его радостно и трепетно. Она, конечно, понимала, что оно не состоится, но ведь девчонки тоже назначали свидания и нарочно не приходили.

В пять часов она подъехала на кресле к окну, повернулась к нему спиной, взяла в руки зеркало и стала смотреть на аптеку. Так она всегда делала — их квартира была на шестом этаже, и Таня из своего кресла улицу не видела. Появился Виктор Михайлович, и вначале было интересно — пришел человек, которому она назначила свидание, но потом Таня поняла, что в свидании нет ничего необыкновенного. Может быть, Виктор Михайлович показался ей намного старше, чем она думала, может быть, она еще не понимала, что свидания волнуют,

когда любишь. Виктор Михайлович прохаживался возле аптеки, а Тане становилось стыдно — она обманула ни в чем не повинного человека, раскаивалась в легкомыслии и хотела уже позвать маму и попросить ее выйти на улицу и извиниться перед Виктором Михайловичем, но было стыдно признаться в этом и маме. Она мысленно умоляла Виктора Михайловича: «Уходите, уходите же, разве вы не понимаете, что вас обманули? Почему же не уходите, какой же вы глупый!» А Виктор Михайлович ходил и ходил, не зная, какие мучительные страдания причиняет девушке, перед которой за эти сорок пять минут открылась вся бездна ее несчастья и вся неотвратимость своей судьбы. Она оцепенела от сознания всего этого, но, когда Виктор Михайлович швырнул цветы пингвину, Таня пронзительно вскрикнула. В комнату вбежала перепуганная насмерть мать, Таня разрыдалась и все ей рассказала...

Виктор же Михайлович, вернувшись из командировки, как-то употребил странное это выражение: «И вот приехал я в Москву, а тут Вася!» Он озадачил им своих сотрудников, они стали подумывать, что их шеф не так уж понятен, как раньше предполагалось. Лабораторные остряки взяли «Васю» на вооружение, и пока они превращали выражение в банальность, Виктор Михайлович вошел в обычную колею, избавился от шатко-неопределенного «и. о.» перед названием должности и с еще большей убежденностью в правоте собственных принципов продолжал жить в точном соответствии со своими кривыми.

## ТЕПЛО ТАУ КИТА

Солнце заливало слепящим светом веранду, а Сергей Макаров-младший сидел на диване и безуспешно пытался разлепить глаза. Проспал рыбалку, сквозь сонную одурь думал он и ловил ниточку сна, который, казалось, только что мерещился и ускользнул. Вместо него, в который раз, вспомнилась встреча с Василисой, как вчера утром за ним заехал дед, Сергей Макаров-старший, и они отправились на радиотелескоп за Петром Игнатьевичем, а он уже был здесь, на лесном кордоне у Валентины Александровны. За ужином вдруг вспыхнул спор, Петр Игнатьевич рассказал немало интересного, усовещал в их лице все человечество. Потом дед повез Петра Игнатьевича на радиотелескоп, ночью меньше помех, а Сергей лег спать с твердым намерением попасть на утреннюю зорьку. И проспал, да еще с такой отключкой, что и сон не вспомнить. А ведь что-то снилось, неприятное и тревожное — на душе ртутная тяжесть, и весь он, Серега, в липком поту, разбитый, как после жестокого гриппа.

Определившись во времени и пространстве, Сергей, все еще не разлепляя век, несколько раз присел, потянулся, сделал «мельницу» руками, и глаза безболезненно открылись, увидели на столе кувшин с молоком, графин с узваром и кастрюлю под цветным полотенцем, от которой шел знакомый дух вареной кукурузы. Валентина Александровна в самом деле, как обещала, не спала, если сумела сварить ведерную кастрюлю початков.

На озеро!

Он сбежал с высокого и широкого крыльца, пересек двор и помчался по дорожке в мокрой от росы траве-мураве, мимо могучих верб, к заводи, свободной от рогоза, который бесчисленными штыками взял озеро в кольцо. Возле воды кожу покальвала предосенняя свежесть. Озеро, изогнутая подковой старица Донца, курилось молочными языками тумана, рогозное войско плакало крупными каплями росы.

У противоположного берега, в лодке, ее очертания едва угадывались, сидел Сергей Васильевич Макаров-старший. Седая голова и седая борода возвышались над лгнувшими к воде языками тумана, и стояла тишина — было слышно, казалось Сергею, как идет у деда кисть по холсту. Жаль, не видит он себя со стороны — вполне мог написать какой-нибудь языческий пейзаж...

Вода оказалась теплой и ласковой, Сергей хотел было подплыть к деду, но раздумал, не стал мешать, перебивать ему настроение и, поныряв на чистой воде, побежал за удочкой и червями. Выпил, принуждая себя, кружку молока, иначе Валентина Александровна, увидев кувшин нетронутым, сильно расстроится, захватил с собой пару початков и вернулся к озеру, забрался на упавшую с берега вербу; широченный ее ствол, опираясь на толстые, подломленные при падении ветви, был в метре от воды — с него два года назад Сергей таскал плотву и поймал первого в жизни большого леща.

Теперь поплавок лежал на темной неподвижной воде как приклеенный, и Сергей занялся початками, снова вспомнил свою одноклассницу Василису. Позавчера он встретился с нею возле памятника Шевченко. Сергей удивился, с чего это ей вдруг вздумалось назначать свидание в центре Харькова, когда они жили возле тракторного завода, но как только Василиса явилась, все прояснилось. Она пришла в роскошном теннисном костюме, вся белая, как чайка, изящная и красивая. Волосы были перехвачены голубой ленточкой, которая гармонировала с синими полосочками и беечками костюма, на плече небрежно висела сумка в крупной латыни, с торчащей рукоятью ракетки... С первого класса ее дразнили Прекрасной, и вот, перейдя в десятый класс, Василиса стала оправдывать свое детское прозвище. Она не шла, а приближалась, собирая у всех прохожих внимание и восхищение; неожиданно чмокнула в щеку, встряхнула норовисто по-цыгански черными и длинными волосами, рассмеялась, взяла под

руку. Он принес билеты на заезжий знаменитый вокально-инструментальный ансамбль. Василиса просила, дед расстарался и достал, но Сергей не успел заикнуться о них, как его кто-то грубо тряхнул за плечо:

— Серый, подь сюда.

— Руки,— спокойно потребовал Сергей, не поворачиваясь. В этом был особый шик, и он продолжал бы идти с Василисой дальше, если бы ему не преградили путь два незнакомых парня.

— Человек же просит...

Он извинился перед Василисой, нарочно затягивая время, та презрительно фыркнула на парней и отошла в сторону. Вязываться в драку с ними, ко всему прочему, в центре города не хотелось. Он повернулся к тому, кто так настойчиво приглашал на короткий разговор. Перед ним стоял бывший одноклассник Борька Козлов.

— А-а, Козел, ты...

— Не Козел, а Борис Евгеньевич,— поправил Козлов, а у самого на скулах суетились желваки.— Воркуете, значит, да?

— Нельзя, что ли?

— Нельзя! — рывкнул Козел и взял Сергея за грудки.

— Руки,— снова потребовал Сергей и понял: потасовки не избежать.

Василиса задружила с Козлом, когда они оканчивали восьмой класс, а потом он куда-то пропал, кажется, поступил в профессионально-техническое училище, и ее симпатии перешли к Сергею.

— Изуродую, если еще раз увижу с Василиской.— Борька кипел, сорочка на груди потрескивала, оторвать его клешню не удавалось, надо было драться, пусть одному против троих, не сдаваться же на милость Козлу...

— Позволь уж нам решать, встречаться или нет,— ответил Сергей и почувствовал: пальцы Борьки разжались, увидел, как он, повернувшись к Василисе, смотрел на нее. Взглянул на Василису и Сергей — она стояла в нескольких шагах от них и вся светилась улыбкой...

— Она думает, что мы лоси,— процедил Борька и прищурил глаза,— не-е-ет... Уступаю, Серый. С меня, понимаешь, с меня причитається. За то, что, когда ты будешь плакать, она будет смеяться. Извини друг,— он пожал ему руку и, кивнув парням, не оборачиваясь, пошел в глубь сквера.

Теперь легко объяснялся ее поцелуй при встрече: она знала, что Борька с ребятами сзади, и ей захотелось его подразнить. А когда едва не вспыхнула драка, Василиса улыбалась, в ее улыбке не было и капельки тревоги за них. Слова Борьки поразили ее, она испуганно смотрела на Сергея. Что ей стоило сказать им: мальчики, не надо, прекратите... Ведь так обычно поступают девчонки, еще в древние времена их прабабки своим вмешательством прекращали целые

войны. А Василисе хотелось турнира, чтобы потом можно было похвастаться перед подругами: из-за меня Сергей Макаров дрался с Борькой Козловым... Борька, конечно, оскорбил ее, но было непонятно, чем был вызван испуг: боялась она, что Сергей не оплатит обидчику, или же утрастилась самой себя? Он не стал выяснять, несколько шагов, которые разделяли их, не преодолел, а как-то непроизвольно кинулся к подошедшему троллейбусу и вскочил в него. Вечером были телефонные звонки: кто-то набирал номер, но молчал.

Наутро объявился дед и, зная о планах Сергея на вечер, сам же билеты доставал, сманивал на поездку к Валентине Александровне.

— Понимаешь, внук, Петр Игнатьевич под Изюмом опять звезды считает, а Валентина Александровна велела без тебя не появляться. Давненько тебя не видела... Не знаю, как и быть... Ты же собрался сегодня, как это по-вашему, побалдеть, что ли?

Дед произнес все это таким извиняющимся тоном, так растерянно и неуверенно, что можно было и впрямь подумать: не пустит Валентина Александровна его без внука на порог. Сергей засмеялся: в самом деле, уважаемый известный художник, старый человек, с жесткой, словно из капроновой лески, бородой, в серо-голубых вельветовых штанах, модных кроссовках — и надо же, такой пассаж, не дед, а красная девица. Вообще он человек деликатности необычайной, сплошная чуткость и доброта.

— Не тушуйся, дед, поедем, — успокоил его Сергей, а сам подумал: как же с билетами, с Василисой — билет ее тоже у него.

— На жертву тебя не обрекаю я? — спросил дед в обычной своей манере, ставя личное местоимение единственного числа непременно в конце предложения.

— Нет, — ответил Сергей и добавил: — Заедем по пути, опущу билеты в почтовый ящик. Не успел вчера отдать

И они поехали. Дед никогда не лихачил, в пути он кормил глаза простором и красками. У художника, говорил он, глаза должны получать богатую, разнообразную и полноценную пищу. Куда бы он ни спешил, мог остановиться, достать альбом для эскизов, и гори все вокруг синим пламенем — дед будет рисовать. На этот раз его ничто не поразило, он любовался полями, жирным блеском вспаханного чернозема, едва заметным красноватым налетом на вишневых садах, но до остановки дело не дошло. На две минуты остановились лишь у памятника Репину в Чугуеве — он всегда оставлял на серой гранитной плите букетик цветов, потому что выше Ильи Ефимовича никого из художников не ставил, и приезжать к нему было так же необходимо, как и кормить глаза. Только свидание с Репиным называлось несколько по-иному — сверять масштабы.

До обсерватории добрались без приключений. Два года назад, после седьмого класса, дед привозил его сюда. Тогда Петр Игнатьевич рассказывал, как устроен радиотелескоп и как действует. Но каким

образом целый лес ажурных вибраторов принимает сигналы далеких галактик и метagalaktик, как небольшая электронно-вычислительная машина направляет луч гигантской антенны в заданную точку Вселенной — тогда Сергей так и не понял.

Петра Игнатьевича в обсерватории не оказалось, и они поехали к Валентине Александровне — он наверняка отдыхал у нее, потому что днем мешали помехи и ему приходилось работать по ночам.

На кордоне их ждали. В честь гостей Валентина Александровна устроила обед в беседке, в сущности, в живом шатре из виноградной лозы, увешанной черными кистями с голубоватым налетом.

Ивана Мироновича, мужа хозяйки, давно не стало, Сергей даже смутно не помнил его, но он как бы всегда присутствовал здесь. Многое на кордоне было делом его рук и души: и шатер из могучей лозы («Приедут ребята, будет где посидеть», — вспомнили слова Ивана Мироновича и в этот раз), и добротный дом, и сад, и липы вдоль дороги, и тысячи деревьев, которые под его присмотром поднялись в здешних лесах. Жизнь его была проста и чиста, как лесной родник, значительна и содержательна.

Старики вспоминали былое, называли друг друга Сережей, Валей и Петей — так им было легче не принимать во внимание толщу времени, отделявшего их от юности; плакали и обнимались, и не было в это время на планете роднее людей, нежели они, ветераны второй мировой войны.

Сергей опять, в который раз, слушал историю о том, как в мае сорок второго года Ивана Мироновича уберег придорожный терновник. Тогда сомкнулись под Изюмом немецкие клещи, по дороге сновали вражеские мотоциклисты, бесконечно скорбными и пыльными колоннами брели военнопленные, а Иван лежал с простреленной грудью в терновнике, пока не наткнулась на него санинструктор Валя. Потом она шутила: нашла мужа в кустах. Наткнулась случайно, в степной балке прятала политрука Сергея Макарова и командира взвода Петра Савельева. Она уложила полуживого Ивана на бричку, погнала коня к лесу и, найдя глухой кордон, выходила всех троих.

Сергей вспоминал эту историю, когда у деда от малейшего волнения начинала мелко-мелко подрагивать кисть левой руки. Он гордился дедом — политруком, партизаном, майором, который закончил войну в Праге. К Валентине Александровне в их семье относились как к самому дорогому человеку, пожалуй, как верующие относятся к богоматери. Она сберегла не только политрука, но и не дала прерваться ниточке жизни, которая тянулась через всю историю Земли к нему, Сергею, и если бы не она, мир существовал бы без него, само собой разумеется, без деда, без отца, без тети Вали, названной в честь спасительницы, без сестренки, тоже Вали, которая перешла во второй класс, без двоюродных братьев-близнецов. Валентина Алек-

сандровна не дала свершиться жестокой и непоправимой несправедливости, и когда Сергей вот в такой приезд на кордон понял, что она свершилась над миллионами и миллионами людей, которые были, но которых никогда не будет, его горю не было предела. Он плакал так, что стали опасаться за его здоровье. С тех пор он не играл с ребятами в войну. Но сколько раз, засыпая, он видел себя летчиком-истребителем, бил, бил, бил из пулеметов и пушек по крестатым стержвятикам, которые разваливались в дымящиеся куски, садился в танк и косил мотоциклистов, посылал снаряд за снарядом в «тигры», «пантеры» и «фердинанды», становился гвардейским минометчиком и гвоздил позиции фашистов, поднимался на мостик торпедного катера и мчался в атаку на вражеский крейсер, раскалывал его пополам... Он мстил им за своих сверстников, которых они убили еще тогда, сорок лет назад, за три поколения до его рождения, и будут убивать, убивать и убивать в каждом поколении миллионы и миллионы мальчишек и девчонок, будут убивать, пока существует жизнь на Земле.

Дед не любил живописать войну, считал себя пейзажистом, иногда рисовал портреты, но только тех людей, которые ему очень нравились. В его мастерской, в углу, где у верующих висят иконы, был портрет юной Валентины Александровны. В военной форме, пилотка засунута под брезентовый ремень, короткие волосы растрепаны, на левом виске нежный, совсем детский зализ, прекрасное лицо в едва заметной пыли или копоти, нижняя губа прикушена, в распахнутых глазах скорбь и страдание, боль от чужой боли, в нежных, по-детски еще припухлых пальцах бинт с пятном крови, засохшей по краям, начало бинта, но понятно, что она стоит перед раненым на коленях, спасает жизнь и жгуче ненавидит войну и смерть. Дед назвал портрет «Мадонна войны», никогда его не выставлял, оригинал подарил Валентине Александровне, а копию повесил в мастерской, и что бы он ни писал, она смотрела со святого угла на его работу.

Сергей разделялся с жареными линиями, которые к приезду гостей Валентина Александровна наловила вентерями в озере, и посматривал на часы начиная с полседьмого. Именно до полседьмого Василиса ждала его звонка, в полседьмого вышла из дома, оглянулась вокруг — Сергея нет. Села в троллейбус, и Сергей следил по часам, как она ехала, вышла без десяти семь. И в толпе его нет. Без пяти минут Василиса поднялась на ступеньки, стала возле входа. Попрыгала на одной ножке, высматривая его в толпе желающих попасть на концерт... Только вряд ли она прыгала. Нашла в почтовом ящике билеты и тут же пригласила Зинку Лепесточкину — та знает все ансамбли наперечет, как заядлые болельщики футболистов. Может, пошла с Борькой — протереть основательно запылившиеся с ним отношения, потом выбрать момент и воздать ему должное, а задно, конечно, досадить и ему, Сергею. «Сереженька, я ждала твоего звонка, ты куда-то пропал, позвонила Боре, думала, ты с ним, и при-

гласила его. Он ведь хороший мальчик, только напускает на себя...» — отчетливо слышал он ее голос, будто и впрямь говорил с Василисой по телефону, и вместо того чтобы закрыть уши, зажмурил глаза.

— Что у тебя с глазами, а? — Бдительность хозяйки застала его врасплох.

Все повернулись к нему.

— Да это я так,— объяснил он и переложил в свою тарелку огромного линия, который отпугивал всех размерами.

Потом Валентина Александровна вновь всплакнула по Ивану Мироновичу, рассказала о внуках, пожаловалась на нынешнее нездоровье, тут дед и Петр Игнатьевич осыпали ее комплиментами, а она, раскрасневшаяся, приглаживала руками гладко зачесанные волосы, голубовато-седые у корней и оправдывалась:

— Да ну вас, ребята... Перестала краситься... Как третий раз бабушкой стала, так и прекратила.

Дед и Петр Игнатьевич продолжали ненавязчиво похваливать ее, она пригрозила им пальцем:

— Ох и хитрющие... Все норовят старую бабку смутить... Ох, ребята, неужели мы в самом деле старые, такие старые, что об этом и подумать страшно? Все наши главные дела позади, а впереди — так, одни недоделки...— И тут она обратилась к Петру Игнатьевичу, переводя разговор в другое русло: — Петя, а ты нам, помнишь, в Праге, в День Победы, обещал связаться с марсианами?! Так как же, Петя, с марсианами-то, а?..

Поплавок еле заметным течением, наверное, под берегом били ключи, затащило под вербу, и Сергей, боясь зацепы, отвел его на чистую воду. Клева не было. К дождю, что ли? Но туман — к ведру... Он рассеивался, было хорошо видно, как дед, пристроив на корме лодки этюдник, продолжал писать...

А разговор завязался вчера интересный, от Петра Игнатьевича, аккуратенького, прилизанного всегда, Сергей не ожидал ничего подобного.

— Валуша,— Петр Игнатьевич осторожно развел руками, снял очки и стал похож на сонного, протер стекла платком, сложил его пополам, потом еще раз пополам, разгладил, засунул в нагрудный карман безрукавки, поправил его уже в кармане.— Марсиан в наличии не оказалось. Что с того, что обещал...

— Уж прости бабу старую и глупую, но я тебя прямо спрошу: доволен своей работой? Не должностями, не званиями, не по деньгам... Понимаю, наука, ты вот который раз приезжаешь звезды слушать, а радости особой у тебя не видела. Может, не заметила? Только без обиды, Петя, я по-своему. — Валентина Александровна сдобрила свои наблюдения тарелкой пирожков — поставила ее перед столичным астрономом.



— Понимаю, от нас ждут немедленного контакта с инопланетянами, — улыбнулся он. — Мне тоже раньше казалось: пусть в конце моей жизни, но такой контакт будет установлен. Правда, мои интересы не имеют непосредственного отношения к вземным цивилизациям. Я занимаюсь теми звездными системами, которые перестали существовать задолго до образования нашего Солнца. Свет и радиоизлучение от них идет миллиарды лет. Короче, царство мертвых волн, невообразимых расстояний — чистая наука.

— На слуху много всяких теорий, догадок, которые будоражат воображение. Кое-кто считает, что инопланетяне посещают Землю и даже якобы вмешиваются в нашу жизнь, — не спросил и не утверждал дед, а изобрел нечто среднее между вопросом и утверждением.

— Всем не терпится связаться с братьями по разуму, — язвительно сказал Петр Игнатьевич. — Кое-кому кажется: снизойдет на нас манна небесная, инопланетяне научат жить, за нас решат земные проблемы. Человечеству только и останется, что раскрывать рот да карман пошире. И не унизительно — приготовились к потреблению не импортных, а инопланетных благ. Оно, человечество, не научилось до сих пор в должной мере уважать обычаи, своеобразие, права разных народов, из которых оно-то и состоит, и до чего же смешно предполагать: иной образ жизни, вземной жизни, придется нам по вкусу. Полнейший абсурд! Допустим, они могли бы нас научить получать дешевую энергию в космических количествах. И что же? Богатые страны стали бы еще богаче, бедные — еще беднее. Чтобы не допустить подобного, могущественным инопланетянам, даже чрезвычайно гуманным, пришлось бы узурпировать власть над человечеством. Как минимум, земляне лишились бы самостоятельности, они бы стали переделывать нас по своему образу и подобию, естественное развитие прекратилось бы...

Очень хочется вступить с ними в контакт. Оттого все неизученное, непонятное и загадочное приписывается им. И Тунгусский метеорит, и пульсары, и летающие тарелки, и загадочные фигуры на плато в Андах, и развалины города Баальбек, и крыша индийской Черной пагоды, и многое другое. Древние храмы кажутся похожими на космические ракеты, вообще боги всех религий живут на небе. Всемирный потоп упоминается не только в Библии, а практически в мифах и преданиях всех народов. Нас терзает загадка Атлантиды. Катаклизм в Солнечной системе, нашей Галактике? А сколько их было, когда менялись полюса, вероятно, и орбита планеты, — Петр Игнатьевич в ответ на дедову тональность то ли утверждал, то ли иронизировал.

— Однако мы самоуверенно считаем, что развиваемся и совершенствуемся, я имею в виду человечество, — Петр Игнатьевич проделал манипуляции с очками и платочком, видимо, это была привычка. —

Как много мы не знаем и не умеем... Прогресс налицо, но человечество подчас напоминает важного индюка, который от самомнения и самонадеянности надувается как бы сам из себя... Всякое развитие циклично: от расцвета к упадку, от упадка к расцвету. В самом расцвете неизбежно зреют зерна упадка — таковы законы диалектики. Тот же научно-технический прогресс за определенные блага берет непомерную плату — ввергает нас в бездну невиданных доселе проблем. Казалось бы, человек на то и человек, чтобы знать те же законы диалектики и делать своевременно поправки в своем поведении. Я отнюдь не мизантроп, но порой мне кажется, что хомо сапиенс, то есть человек разумный, — в целом для человечества аванс, это название еще надо оправдать. Хомо сапиенс — это еще надо заслужить! Так-то...

Петр Игнатьевич постепенно от иронии снизошел до исповеди, но богатый опыт преподавания приучил его на доказательство каждой мысли тратить академический час. К тому же он волновался и, зная гораздо больше, чем говорил, пытался сказать самое важное и уходил порой своих слушателей далековато даже от марсиан.

В качестве любопытного примера периодов развития человечества он привел юги из древнеиндуистской космографии. Их четыре, в каждой последующей человек хуже, чем в предыдущей. Минут десять Петр Игнатьевич восхищался математическим оснащением этой периодизации: последняя юга, самая плохая, называемая калиюгой, длится четыреста тридцать две тысячи лет, все же четыре — ровно в десять раз больше, это махаюга, или большая юга. Тысяча махаюг составляют один день Брахмы. В конце каждого дня на небе якобы появляется двенадцать или семь солнц, испепеляют миры, которые затем возрождаются. Современное человечество, так считается, живет в шестом тысячелетии, к сожалению, калиюги, когда людей одолевают пороки и недуги, они истребляют себе подобных и младших своих братьев, распутничают, преступники преуспевают, праведники бедствуют, короче, торжествует злое начало.

— Но это миф.— Петр Игнатьевич обворожительно улыбнулся и развел руками.— Если сжигаются миры после каждого дня Брахмы, то откуда само знание о югах? Из космоса? Нет, геологический возраст Земли никак не согласуется с двадцать восьмой махаюгой, в которой мы якобы живем.

— Петя, есть же закон: из ничего — ничто, а по-нашему: дыма без огня не бывает,— возразил Сергей Васильевич.— Меня Сережка снабжает научной фантастикой, кстати, он большой ее знаток. И вот сколько бы я ни читал фантастику, ни одному автору, каким бы он поистине фантастическим воображением ни обладал, не удалось оторваться от корней и проблем земной жизни. Пусть они мастерски спрятаны, до неузнаваемости преобразены, но, если вдуматься, они неизменно наши, земные и человеческие. Дыма без огня не бывает...

— Дед, ты прав по форме, но не по существу, — вмешался в разговор старших Сергей, и Петр Игнатъевич с любопытством повернулся к неожиданному союзнику. — Есть и другой закон, он заключается, казалось бы, в примитивном и банальном вопросе: кому выгодно? Авторам юг надо было как-то оправдать войны, зло, жестокость, мол, те, кто творит все это, вовсе не виноваты — в ответе калиюга. Поскольку же калиюга бесприсветно огромна, а жизнь коротка, пришлось давать выход из безрадостного состояния. Он — в перевоплощении души индуса в новую телесную оболочку. Чем выше качество соблюдения религиозных предписаний, тем фирменнее оболочка, получше каста, и калиюга кажется не такой уж длинной, даже удобной — достаточно времени для грехов и праведных дел. Зло оправдано, все довольны.

— Молодой человек, браво. — Петр Игнатъевич дружески обнял его за плечо. — Продолжу эту мысль. У буддистов тоже есть периодизация, ее единица — кальпа, равная миллиону лет, четыре кальпы — махакальпа. Есть махакальпы без будд, есть с буддами. Нынешняя кальпа считается очень счастливой — в ней запланировано появление целой тысячи будд. Правда, появление на Земле каждого будды сопровождается не только дождями из цветов, но и землетрясениями. Предел мечтаний буддиста — стать буддой. И он в результате бесчисленного множества превращений имеет такую возможность. Пожалуйста, для этого ныне открыта тысяча вакансий. Отчасти этим обстоятельством можно объяснить увлечение буддизмом на Западе — вроде бы есть выход, на самом деле — отлучение от жгучих проблем человечества, вдобавок восточная экзотика, ее престижно потреблять.

— Похоже, вы сговорились, — проворчал Сергей Васильевич и сокрушенно покачал головой. — Подловили!

— Э-э, дед, не клади внуку пальцы в рот, — засмеялась Валентина Александровна.

— Что ж, Валюша, так оно и должно быть. Мы хотели оставить им мир гораздо лучше, чем нынешний. И не наша в том вина. Но они лучше нас, а это главное, — ответил дед хозяйке, и та, кивая в такт его словам, вздыхала и складывала тарелки на краю стола.

— Вот именно, — согласился и Петр Игнатъевич. — Извините, но я не закончил свою мысль. Так вот, коротенькая жизнь человека смущала все религии, и его надо было убедить в бессмертии души. И каждый утешался: душа вечна, а человечество бессмертно. Теперь ситуация изменилась. Наш современник, осмысливая вполне возможную вероятность исчезновения рода людского в термоядерной войне, испытывает неслыханную психическую перегрузку. Он в стрессах, как луковица в одежках. А его еще запугивают, разоружают нравственно и духовно, растлевают, поощряя самые низменные инстинкты и побуждения: грабят не только его, но и потомков, используя природные ресурсы в неслыханных масштабах на бес-

смысленную гонку вооружений,— так современный капитализм пытается продлить свои дни. К двум чудовищным девизам буржуазии — человек человеку — волк, после нас — хоть потоп — добавился еще более изуверский: лучше быть мертвыми, чем красными.

Лучшая часть человечества борется, вышла на улицы, протестует против безумия. А обыватель рассчитывает спрятаться от термоядерного пламени в бронированных и кондиционированных норах, со страху ударился в разгул и разврат — в обществе потребления нет стыда и совести, есть лишь потребление всего и вся. Ему подсовывают актера-ковбоя, его дикие нравы он принимает за силу, способную защитить и спасти, а то и победить красных. А тот путает планету со съемочной площадкой в Голливуде, где лютуют не реки крови, а краски. Он преподносит обывателю новейшие космические системы, как некогда расхваливал стиральные порошки, и тот на все ради живота своего согласен. Мещанство всегда было опорой и резервом буржуазии. Она его лелеяла и уродовала одновременно.

— Петенька, не подумай плохого, у меня молодая цесарка с яблоками, наверно, сгорела, а я, глупая, стеснялась уйти или перебить тебя,— объяснила хозяйка и через минуту вернулась с утятницей, воскликнула: — Ой, ребята, еще как получилась!

— Не сельский фельдшер, а старосветская помещица,— сказал дед.

— Продолжайте, пожалуйста, Петр Игнатьевич,— попросил Сергей.

— Так вот, поскольку обыватель способен стоять лишь за свой живот, а в потреблении он ненасытен, он очень жаждет воспользоваться благами космического разума, поживиться на даровщинку. С неба он ждет и избавителя от своего страха, мессии, а это все равно, что уповать на бога. Множество ученых изучают окрестности Солнечной системы, они — мертвая пустыня. Земля — зеленая кроха во мраке космоса. У землян довольно веские основания чувствовать себя уникальными и одинокими. Несмотря на то, что одни пишут научно-фантастические романы, другие собираются на научные симпозиумы по проблемам внеземных цивилизаций, а третьи передают друг другу размноженные на гектографе так называемые факты о летающих тарелках.

— Погоди, Петр Игнатьевич,— прервал его дед.— Прибегаешь к одним черным краскам. Если ты изучаешь давным-давно исчезнувшие миры, практическая польза от них примерно равна нулю, о научном значении не берусь судить, так почему же ты так скептически относишься к этим симпозиумам? Ты не веришь в существование в космосе каких-то разумных существ?

Возможно, дед был уверен, что тут уж столичный астроном оказался если не в черной дыре, то, во всяком случае, в неудобном углу. Только он не учел разницы между спорами художников, когда

вместо истины на первом плане сплошь и рядом оказывается субъективное ее восприятие, и научными дискуссиями, когда истина должна доказываться несомненными фактами.

— Верить или не верить — слова не строго научного обихода. — У Петра Игнатьевича была иная школа, и он легко, играючи, даже с изяществом выходил из уготованного угла. — Черный цвет — бывший белый, в нем были все цвета и оттенки, в том числе и розовый. И цивилизации существуют, причем во множестве. Но, боже, на каком расстоянии от нас! Имеется даже субъективная концепция: природа расположила их в космосе достаточно далеко друг от друга, чтобы исключить войны между ними. Это действительно мрачный взгляд на проблему. Вообще в концепциях и гипотезах в этой области недостатка не наблюдается. Один немецкий ученый, Хорнер, вероятно, пессимист по причине трезвого взгляда на вещи, считает, что среднее время существования технически развитой цивилизации с момента освоения радиоволн — всего шесть с половиной тысяч земных лет. Среднее же расстояние между цивилизациями — тысяча световых лет. Иными словами, между ними, опять же в среднем, может произойти всего три контакта со световой скоростью. Тоже мрачноватая картина.

В принципе мы накануне контакта. Можем принять разумный голос из космоса, ответить ему — вряд ли. Для этого еще предстоит создать соответствующие мощности, а в энергетическом смысле человечество по космическим меркам нищее. Однако оно расходует энергию с расточительностью и пышностью римских императоров. Подсчитано: всего через три тысячи лет, если темпы роста потребления энергии сохранятся, человечество будет расходовать ежесекундно столько, сколько в ту же секунду выделяет Солнце. Через пять тысяч лет нашим потомкам потребуется энергия всего-навсего миллиона Солнц. Это всего лишь расчеты, не более — мы приближаемся к тому уровню потребления энергии, который будет представлять угрозу для жизни на планете.

Но хорошо, допустим: сегодня мы приняли сигнал и сегодня способны дать ответ. И чем же мы порадуем братьев по разуму? Астрономическим числом войн и жертв хомо сапиенса? Картой планеты, разодранной границами и военными блоками? Ничтожной продолжительностью его жизни? Сонмищем физических и нравственных болячек? Запасами ядерного оружия и средств его доставки?

Разумеется, можно послать портрет Юрия Гагарина, изображение Давида работы Микеланджело или Венеры Милосской, правда, будет сложновато объяснить братьям, почему она безрукая. Можно сообщить им наши коммунистические идеалы. Поведать о весьма скромных научно-технических достижениях, которые у высокоразвитых братьев наверняка бы вызвали улыбку — примерно такую, как если бы перед нами хвастались бронзовым топором? Могли бы

послать им виды нашей прекрасной планеты... Но объективная информация вполне может послужить поводом для агрессии со стороны высокоразвитой цивилизации. С благими, конечно, намерениями — спасти планету и ее обитателей, пока они не уничтожили и ее и себя. Пустит ли оно в ход ядерное оружие, попадет в экологическую или энергетическую западню, погубит себя нравственно — какая разница, опасность этих катастроф не уменьшается, а нарастает. Выход один: переключить все ресурсы и силы на приведение в порядок нашей крошечной планеты, сосредоточить разум и возможности на решении общечеловеческих задач, пока не поздно. Для этого, как минимум, надо перемолоть в порошок оружие. Пока оно есть, да еще в руках новоявленных маньяков, у нас не будет единых гуманных идеалов и не будет единой воли. За это бороться и бороться. Человечество накануне контакта, но не готово к нему не столько в техническом, сколько в моральном плане. У каждого нормального человека стыда за дела своих земляков по планете должно быть сейчас гораздо больше, нежели гордости за их достижения. Хомо сапиенсу надо стать действительно человеком разумным, иначе он уничтожит самого себя.

Дед вскинул тяжелую и крупную руку, требуя внимания, — он не соглашался с пессимистическим взглядом Петра Игнатьевича на человека. Он был воспитан на исключительной вере в его добродетели и гений. Дед кипятился, обвиняя Петра Игнатьевича в унижении рода людского.

— Я тоже, — это был редкий случай, когда он поставил личное местоимение единственного рода на первое место, — представь себе, не прочь поживиться плодами космического разума, уж коль такой глупый и неразумный я. Может, по-твоему к мещанам можно отнести и меня?

Впрочем, дед сказал все-таки дельную мысль, мол, все мы живем не столько по велению инстинкта самосохранения, сколько из веры в самих себя...

И тут Сергей обратил внимание на Валентину Александровну — она смотрела на них, как может смотреть только мать на распетушившихся детей: добрыми, заранее прощающими глазами смотрела, прощающими потому, что она никогда не расставалась с надеждой на лучшее в них, и это был уже не взгляд на спорящих за ее столом, а, быть может, на все взбудораженное распрями человечество, которое все, без единого исключения, тоже было ее ребенком; ведь это ее дети, забыв о том, как она со своим молоком, с любовью и лаской, вливала им в кровь добро, великодушные и справедливые, вздумали идти по самому краешку пропасти, ей больно и обидно, рвется на части материнское сердце, ее душа кричит, но не слышат те, кому надлежит услышать и понять, словно они родились не от человечесьей матери, а от бешеной волчицы, и стынет ее кровь при мысли, что мучения многих миллиардов матерей, неисчислимая тьма их бессонных ночей,

океаны слез, выплаканных ими, пока они пестовали человечество, кажутся детям бешеной волчицы пустяком...

Очень жаль, что дед не видел ее такой — мог бы наконец написать новый удачный портрет. Сергей толкнул тихонько дедову ногу, тот, как медведь, долго поворачивался к нему, а Валентина Александровна вышла из тяжкого своего раздумья, спохватилась, вспомнив о липовом меде. Она принесла кувшин и стала лить мед в расписную деревянную миску; тяжелая струя, укладываясь в ней, скрипела.

— Слышите? — спросила она и от радости посветлела. — Будем есть с дыней. Они нынче не сладкие, а с медом — самый раз. Иван Миронович любил дыню с медом...

— А все-таки, Петр Игнатьевич, если не по нашей инициативе вдруг объявится на околоземной орбите огромный межпланетный корабль? — спросил дед.

— Боюсь даже предсказывать последствия. Было бы наивным предполагать, что все наши усилия будут мгновенно переключены на устранение возможной опасности. Разве не пренебрегает в целом человечество угрозой собственного уничтожения? Забыл кое-кто уроки второй мировой войны... Жутко представить жизнь, если бы не наша революция, если бы мы их не сдерживали, не наша сила, твердость и решимость отстаивать свои идеалы. Без нашей революции планета была бы в оспе термояда, воцарился бы фашизм или иная, не менее изуверская система. И это становится все очевиднее.

— Мне не раз приходилось читать, что ближайшая цивилизация может находиться на расстоянии всего десяти световых лет, — обратился к астроному Сергей.

— Значит, всего десять световых лет? Из вас, молодой человек, вполне может получиться мой коллега — уже есть склонность пренебрегать расстояниями. Десять световых лет!.. До альфы Центавра, ближайшей звезды, совсем мало лететь: четыре года и три месяца со световой скоростью. На космических кораблях нашего времени путешествие займет всего какую-нибудь сотню тысяч земных лет. Если бы неандерталец запустил камень со второй космической скоростью, он был бы уже возле альфы Центавра. Звезда тройная, три светила, подобных нашему, жизнь невозможна даже теоретически. Она вероятна в системах эпсилона Эридана и Тау Кита. Предпочтение многие отдают последней. Современную ракету должен был запускать, дабы мы имели земное тело возле нее, дедушка хомо сапиенса, скажем, синантроп. Только что он мог рассказать о нас?..

Сергей прикинул в уме, сколько сотен тысяч лет назад должен был отправиться корабль до Тау Кита, и физически ощутил огромность этого расстояния, по сравнению с которым Земля действительно пылинка, и вспомнил, как часто космонавты в своих репортажах с орбитальных станций с тревогой и любовью называют ее маленькой.

Петр Игнатьевич заторопился на радиотелескоп, поблагодарил

хозяйку за старосветский обед. Почему-то между ними не было прежней теплоты — наверно, у Валентины Александровны разболелась голова. Сергей заметил, как она проглотила какую-то таблетку.

— Да, брат, сегодня ты меня отравил порядком,— сказал дед, поднимаясь, и пошел к машине.

Астроном растерянно посмотрел ему вслед, повернулся к Валентине Александровне. Та молча собирала посуду.

— Ребята, да что вы в самом-то деле? Я же хожу с этим и живу! — с такой болью и обидой воскликнул он, и Сергею стало его жаль.— Взгляните на озеро, какая над ним заря! Вот она, жизнь...

Заря была великолепной, сочной, озеро казалось расплавленным магниевым металлом.

Астроном уехал, а дед за вечерним чаем, который они распивали, спасаясь от комаров, на веранде, говорил в утешение хозяйке о человеке будущего. Дед был уверен, что его назовут homo florens — человек прекрасный, процветающий и благородный, могущественный и добрый. Именно флоренс — потому что с латыни это слово переводится как цветущий, прекрасный и сильный...

Ни единой поклевки!

Солнце, высушив туман, поднялось на выцвелем за лето небе, тень разлапистой вербы косо падала на воду, рассекая ее на темные и светлые лабиринты до самого дна. В глубине лениво двигались рыбы, некоторые из них подплывали к насадке, останавливались, принюхивались, что ли, к червю, а затем резко уходили прочь. Торчат на дереве не было никакого смысла, тем более что дед стукнул веслом о борт лодки и греб к берегу.

Сергей пошел к ольхе, которая росла на мыске у самого берега,— возле нее оставляла лодку Валентина Александровна. Старая корявая ольха вцепилась красноватыми корнями в мысок, не позволяя озеру размывать его, а коровам, которые любили в жару постоять здесь по брюхо в воде, превратить пяточок земли в месиво. С мыска Сергей принял от деда этюдник, поставил его в тень, чтобы не мешали блики, отойдя на два-три шага, рассматривал работу. Дед написал водяную лилию, раскрывающуюся вместе с восходом солнца. Сергей слышал от него не раз, что она раскрывает лепестки, когда оно восходит, видел даже эскизы в мастерской, которые, как он выражался, впечатления ему не наносили. Здесь же дед передал напряженность, объем и перспективу, момент движения — солнце взошло, кувшинка только-только начала распрямлять сочные белые лепестки, доверчиво и робко обнажая желтые пестики-тычинки, своего рода маленькое солнышко... На темноватой, еще ночной воде лежали овальные листья, один лист был старым, кое-где дырявым, он уже пожил свое, а другой — совсем новенький со свежей лакированной зеленью. В глубине виднелся и второй цветок, он был еще слеп, сила жизни выталкивала его в мир, в котором было далеко до благодати и гармонии. Над расцветающей лилией стоял туман, холст дымился и дышал им, хотя его космы, красноватые в лучах еще не раскаленного добела солнца, были изображены лишь в перспективе. Не миг цветенья, а миг боренья



написал дед. Картина рождала тревогу, и если бы не вчерашний разговор, он не смог бы передать так сильно свое настроение.

— Молодец, поздравляю! — крикнул Сергей. — Сразу маслом, за одно утро — темперамент, как у Александра Герасимова в его «Веранде после дождя».

Сергей Васильевич с кормы черпал пригоршнями воду и умывался.

— Дед, слышь, ты молодчина! — опять крикнул Сергей.

Тот повернулся к нему, с бороды сбегали струйки, взглянул недовольно напряженными, измученными глазами — не доверял похвале, принимал ее за лесть. Потом неспешно вытирал вафельным полотенцем лицо, борода шуршала, а Сергей смотрел на лататье, где цвели лилии, на след в нем, оставленный лодкой. У мыска по воде юрко сновали блестящие черные жучки, и он наконец вспомнил свой давешний сон...

На темно-синем ночном небе, как эти водяные жучки, танцевали, резвились какие-то светлые точки. Светляки-искорки расписывали его затейливыми узорами, и казалось, что оно вот-вот расцветет пышными гроздьями салюта. И вдруг небо покрылось мглой, подул горячий ветер, светлячки пропали, над головой пронеслись вывороченные с корнями деревья и вспыхивали на лету в ставшем беззвучным мире. «Вот и началось», — с тяжелой обреченностью подумал он и хотел побежать, кого-то спасти или предупредить...

— Ночью так кричал, звал мать, вскидывался, что, извини, не стал будить на рыбалку, — сказал дед, выходя на сушу.

— Мне снился кошмар... Я его только что вспомнил. Кажется, во сне я видел атаку крылатых ракет. — И он рассказал, как плясали веселые искорки, потом подул знойный ветер, беззвучно неслись над головой деревья и загорались на лету.

Сергей Васильевич выслушал его задумчиво, положил внуку на плечо тяжелую теплую руку и, прижав к себе, успокоил;

— Дерево — символ жизни. Но ты не волнуйся. Сны, как известно, исполняются наоборот... Так ничего и не поймал?

— Совсем не клюет. Смотрит на крючок и не берет.

— Даже рыба понимает... Что ж, пойдем завтракать. Петр Игнатьевич, наверно, уже вернулся.

Дед взял этюдник, и они пошли по теплой траве-мураве. Шли молча, каждый думал о своем, но об одном и том же. Перед глазами Сергея плясали увертливые светлячки, мчались беззвучно горящие деревья, и в его душе, скованной ночным кошмаром, сильнее давало о себе знать чувство щемящей любви к миру, в котором он родился, и мужество, а вместе с ним и чувство долга и ответственности за все, что происходит в нем. Пока они шли к дому Валентины Александровны, Сергей, быть может, стал совершенно взрослым человеком и стал лучше, чем прежде. Ему почему-то больше всего хотелось сейчас же позвонить Василисе, понять и простить, потому что она тоже должна непременно его понять и стать лучше. И все люди должны стать лучше, иначе им никогда не стать хомо флоренс...

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

Случай в Семигорье . . . . .	3
Оптимальный вариант . . . . .	28
Тепло Тау Кита . . . . .	48

**Александр Андреевич ОЛЬШАНСКИЙ**  
**ТЕПЛО ТАУ КИТА**

*Рассказы*

Редактор М. М. Жигалова

Технический редактор О. Н. Ласточкина

---

Сдано в набор 09.10.85. Подписано к печати 09.12.85. А 00437.  
Формат  $70 \times 108^{1/32}$ . Бумага газетная. Гарнитура «Школьная».  
Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,80. Учетно-изд. л. 4,24.  
Усл. кр.-отт. 2,98. Тираж 85 000. Изд. № 2975. Зак. № 1653.  
Цена 25 коп.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография  
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда».  
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.



## **ДЛЯ ВАС, КНИГОЛЮБЫ!**

● В книжных магазинах книготоргов и потребсоюзов Российской Федерации книги можно не только купить, но и приобрести их по выигрышным билетам Всероссийской книжной лотереи.

● Стоимость билета 25 копеек. Сумма выигрыша (50 копеек, 1, 3 и 5 рублей) указана на внутренней стороне запечатанного билета.

● Вероятность выигрыша велика, так как из каждых 200 билетов — 69 выигрышных!

● По выигрышным билетам можно приобрести любую книгу или другие печатные издания по своему выбору из наличного ассортимента книжного магазина или киоска.

● Если сумма выигрыша меньше стоимости выбранной вами книги, можно произвести доплату наличными деньгами.

● Прочитанные книги вы можете предложить книжным магазинам для повторной продажи. Этим вы окажете добрую услугу другим книголюбам.

**Росглавкнига**  
**Дирекция Всероссийской книжной лотереи**